06 I 10

АНТОЛОГИЯ
УКРАИНСКОЙ ПОЭЗИИ
В РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
А. ГАТОВА и С. ПИЛИПЕНКО

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
Проф. А. БЕЛЕЦКОГО

13368



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ
1924

Львів. Бібліотека
АН. УРСР

Ш5(2-4И)57-65я43

Львівська державна
наукова бібліотека
№ 57

«Книготехник»

Р. У. П. КИЕВ.
Трест „Киев-Печать", 2-я тип. Пушк. 4.
Зак. № 404—5000.

ОТ РЕДАКЦИИ

Наша „Антология“ — не чтец-декламатор и не хрестоматия. Составители ее ставили себе более скромную задачу: посильно заполнить пробел в русской переводной литературе, до сих пор весьма скудно знакомившей русского читателя с украинской поэзией. Отдел в книге Н. В. Гербеля „Поэзия славян“, вышедшей в 1870 году, переводы „Кобзаря“ Т. Г. Шевченко (книга Белоусова и др.), весьма отдаленно передающие творчество поэта-бунтаря, вольные переводы Ив. Рукавишникова „Молодая Украина“, захватывающие порог XX столетия, и, наконец, немногочисленные переводы из украинских поэтов, разбросанные в различных журналах и сборниках,— вот все, чем мы до сих пор располагали. Между тем Украина, как увидит читатель далее (из статьи проф. Белецкого), дала много сильных и ярких талантов. Новейшая, пооктябрьская украинская поэзия, развивающаяся в условиях социальной и национальной свободы, идет ускоренным темпом вперед, завоевывая не последнее место среди современных литератур. Времена, когда русскому читателю волительно было ограничиваться знанием одного Шевчко, давно прошли. На помощь этому читателю мы и

идем, стремясь дать общее представление об украинской поэзии и не отдавая предпочтения тому или иному ее течению.

Использовав уже имеющийся материал, мы значительно дополнили его новыми переводами, сделанными специально для нашей „Антологии“ и впервые появляющимися в печати.

Перевод стихов не всегда передает все особенности оригинала. Если наша книга пробудит у читателя желание познакомиться с украинскими поэтами непосредственно — цели, поставленные перед „Антологией“, будут осуществлены в полной мере.

I.

Украинские патриоты недавнего прошлого, неистощимые в жалобах на произвол и гнет царского правительства России, обыкновенно с горьким чувством указывали, что и российская интеллигенция не понимает всей справедливости их требований, полускептически относится к их речам об уже существующей национальной культуре.

И в значительной степени они были правы. Два народа, живущие бок о бок, связанные историей так тесно, что по временам возникали споры, что в этой истории принадлежит одному, и что другому — с недоверием и непониманием подходили друг к другу. Великоросс издавна любил послушать украинскую песню, восхищался живописностью вишневых садиков около белых хат, признавал украинца прирожденным комиком — но в общем опасался и сторонился якобы двуличного и хитрого „хохла". Внутренняя сторона жизни этого „хохла" интересовала его в очень малой мере.

Когда-то Гоголь, начиная свое литературное поприще, изображал „племя пляшущее и поющее" на фоне фантастически-ярких, „упоительных и роскошных" декораций „мало-

российской" природы. Много позже другой российский поэт, вспоминая об Украине, на мотив гетевской песни из „Вильгельма Мейстера" воспевал край, где все обильем дышет, —

Где из цветов венок плетет Маруся,
О старине поет слепой Грицько.
И парубки, кружась по пожне гладкой
Взрывают пыль веселою присядкой.

Эти стихи печатались в хрестоматиях и заучивались детьми даже тогда, когда на степных просторах выросли фабричные трубы, а деревенская идиллия озарилась огнями пожаров помещичьих усадеб и хуторов. Другой — новейший русский поэт — мимоходом заметил эту перемену:

Нет, не вьются там по ветру чубы,
Не пестреют в степях бунчуки...
Там пестреют фабричные трубы,
Там заводские стонут гудки. (Блок).

Украина вставала перед его глазами с обликом „новой Америки". Впрочем, и для него это была не Украина, а только Южная Россия, Малороссия, об упорных притязаниях которой на какую-то свою, особую культуру он не знал; а если бы и знал, едва ли бы заинтересовался.

Великодержавная точка зрения, таившаяся даже в самом либеральном русском интеллигенте, мешала российскому читателю серьезно считаться с украинским языком и литературой. Из этой литературы он знал разве Винниченко, которого в простоте душевной он мог считать таким же *своим* писателем, как Л. Андреев или Арцыбашев; мог прочесть кое-что из Коцюбинского, благодаря

случайно появившемуся русскому переводу. Из лириков был известен, конечно, Шевченко — в более, чем посредственных переложениях, — и только. Были попытки расширить круг знакомства — но они не имели успеха уже потому, что плохо были сделаны (сборник И. Рукавишникова „Молодая Украина"). В итоге три-четыре имени: этого мало, чтобы думать о целой литературе.

Конечно, Коцюбинский и Винниченко каждый по своему талантливы... но на кого бы могла рассчитывать такая литература, если даже предположить, что она существует? На крестьянина, жаждущего отделаться от своего „мужицкого" языка и по возможности ничем не отличаться от городских обывателей? На кучку интеллигентов-романтиков, принципиально носящих мережаные сорочки и меховые смушковые шапки? Без конца пережевывая мотивы Шевченко о бедной матери Украине, в примитивно-старосветской форме изображая страдания деревенской бедноты, не выйдешь за пределы своего нарочито-невеликого Миргорода. И возможно ли выйти из него в большой свет, имея в соседстве с одной стороны российскую литературу, со времен Гоголя оттягивавшую к себе крупные украинские таланты, а с другой — польскую, издавна тяготевшую к ассимиляции и захвату украинской мысли? Что может мне дать — спрашивал себя русский читатель — украинская литература такого, чего бы не нашел я у Пушкина или Тютчева, Толстого или Достоевского, Бальмонта или Сологуба — или у польских писателей, переводы которых предлагаются мне в таком изобилии? Стоит ли даже вре-

менно из богатых чертогов своей, признанной в Европе, литературы переселяться в скромную хатку, чтобы послушать наивно-несложные песни и повестушки украинских поэтов, трогательных в любви к своему языку — но все-таки слишком уж захолустных, провинциальных для двадцатого века?

Великодержавная точка зрения изживается и почти уже изжита ныне. Но изживается она не потому, чтобы за последние годы российский читатель сделал много шагов вперед по пути познания Украины и ее культуры. Кое в чем он вынужден был подвинуться: между прочим, ему пришлось помириться и с мыслью об украинском языке, и с мыслью о возможности украинского стиля, например, в архитектуре... Литература Украины попрежнему остается почти неоткрытой Америкой. Если украинские поэты наших дней хорошо знают и Андрея Белого, и Блока, и Есенина, и Маяковского — то трудно найти российского писателя, который хотя бы поверхностно знал, например, Олеся или Тычину, не говоря уже об иных, менее громких именах. Символом украинской поэзии для великоросса попрежнему остается Шевченко. Украинская поэзия попрежнему представляется ему прямой наследницей народной песни, детищем украинской деревни. Рядом с этой деревней он недооценивает роста Украины городской и фабрично-заводской. Он не заметил, как за короткий сравнительно срок выросла и возмужала украинская литература, на наших глазах приобретающая не только национальное, но международное, европейское значение

и уже опередившая на своем пути литературы, например, южно-славянских народов, имеющие за собой и более долгое, и более сложное прошлое.

Переломным моментом в развитии украинской литературы были последние годы XIX и начала XX века. Причины более или менее известны. Еще в 1881 году началась эксплоатация минеральных богатств страны, куда хлынули иностранные и российские капиталы, принося с собой быстрый рост фабрично-заводской промышленности, индустриализацию аграрного капитала и пролетаризацию деревни. В 1898 году на Украине уже более 17-ти больших металлургических фабрик; в начале XX века — в левобережной Украине властвуют Продуголь и Продамет — каменноугольный и железно-стальной синдикаты, а в правобережной — расцветает сахарная промышленность, идет индустриализация сельского хозяйства. Обостряется классовая борьба. Вымирают, перебираются в города потомки Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны. Колупаевы и Разуваевы разных национальностей сносят их домики прочь и вырубают их вишневые садики. Кипит и волнуется в борьбе за землю деревня, в свою очередь раз'едаемая внутреннею распрей безземельной бедноты и зажиточных кулаков — „куркулей". Организуется для борьбы с пролетариатом буржуазия, осевшая в городах, где уже загудели трамваи, высохли и срублены пирамидальные тополя. Там, где по широким шляхам тянулись чумацкие обозы — зазмеились железнодорожные рельсы; густым дымом заволоклось небо над степ-

ными просторами — страна, действительно, обернулась тем „новым ликом", о котором сказал в своих стихах Блок.

И как только открылись уста этого нового лика — послышались речи, неслыханные и возмутительные для писателей старшего поколения. Старые народники, очутившиеся на рубеже нового века, проповедывавшие мирную культурную работу в деревне,—учителя, агрономы, врачи, кооператоры, занимавшиеся попутно и литературой, — все они твердо держались принципа служения искусства народу, не допускали иной поэзии, кроме поэзии гражданской скорби — и притом в общедоступной, близкой народу (т. е. крестьянству) форме. С подозрительностью и опасениями прочли они в 1901 году на страницах „Литературно-Научного Вестника" обращение молодого поэта Мыколы Вороного к украинским писателям с приглашением сотрудничать в задуманном им альманахе, „который и содержанием, и формой мог бы хотя отчасти приблизиться к новейшим течениям и направлениям в современных европейских литературах". Перечитывая сейчас строки, где Вороный говорил о своих целях и задачах, можно умилиться скромности его пожеланий. „Желательны были бы произведения хоть с малою дозою оригинальности, с независимою свободною идеей, с современным содержанием; желательны были бы вещи, где было бы хоть немного философии, где яснел бы хоть клочок того голубого неба, что извечно манит нас своей недосягаемой красотою, своей неизмеримой таинственностью". И в заключение — с еще

большею робостью: „На эстетическую сторону произведений будет обращено наибольшее внимание“ *.

Народники взволновались. Радоваться или нет этому призыву? спрашивал читателей критик, в большой статье осудивший первые опыты украинского модернизма в области художественной прозы. Призывают стать в уровень с современностью, обещают что-то новое и модное. „Модное-то оно модное, да все же как будто неловко: демократическая, „мужицкая“ в лучшем значении этого слова литература, и вдруг символизм, декадентство... Нет уж, бог с ним, с этим новым направлением, да минует нас чаша сия“ **. Альманах все-таки вышел („Из-за туч и с долин“, Одесса, 1903) — об'единив писателей различных литературных взглядов (среди сотрудников мы находим Б. Гринченко, Чернявского, Л. Украинку, Коцюбинского, Кобылянскую, Хоткевича). На первых же страницах—два послания в стихах — от Ивана Франка к редактору сборника Вороному и ответ Вороного Франку. Послание Франка (перепечатанное впоследствии в сборнике его стихов „Semper tiro“), очевидно, является откликом на обращение Вороного в „Литературно-Научном Вестнике“. „Неисправимый идеалист“, как называет Франко Вороного, требует от поэтов стихов без нарочитой тенденции, песни без гражданских котурнов, свободной и беспечной, „над которой мог бы отдохнуть душой современник, утомлен-

* „Литер.-Научный Вестник“, 1901, кн, 9, хроника, стр, 14.
** С. Ефремов. В поисках новой красоты. 1902, № 10, стр. 113. (На русском языке).

ный окружающей распрей". Мы легко можем себе представить, что скажет в ответ на это требование старый народник, сын деревенского кузнеца, беллетрист, поэт, переводчик, историк литературы, этнограф, публицист, критик — Иван Франко, в 1903 году подошедший к тридцатилетию своей многосторонней деятельности. Слова его — почти те же, какими некрасовский гражданин в известном стихотворении убеждает поэта.— Да, ненужно фальшивых фраз и ложного пафоса: но ненужно и песни-перины, песни, подобной больничной койке! Современная песня — вся огонь и порыв, вся борьба и искание; быть поэтом значит от рождения болеть чужим горем, значит тревожить и будить, а не успокаивать сердца... „Нет, не желай, милый друг, чтобы поэты покрывали нас мглою, убаюкивали розовым туманом, океаном мистических видений, чтобы они давали нам в пище опиум, чтобы они пели для нашей забавы... Пусть они будут искренними прежде всего!.. Слова — мякина, но огонь в одежде слова — это бессмертная чародейная фея, это Прометеева искра в кремне!" *.

Вороный отвечает, начиная эпиграфом из Бодлера: „La poésie n'a pas la Verité pour objet, elle n'a qu'elle même!" — истина не является целью поэзии, поэзия сама себе цель — и только! — Лозунг „искусство для искусства" провозглашен здесь уже без обиняков, открыто. Далее неизбежный в спорах такого рода выпад против фарисеев,

* „Из-за туч и с долин", укр. альманах, Одесса, 1903, стр. 1—3.

пустых сердцем, размахивающих бумажными мечами гражданских писаний: „Кто их призвал? что им нужно! Пусть эта бездарность идет на торжища, на базары!“ (Так, например, и Фет в стихотворении „Псевдо-поэту“: „На рынок! там кричит желудок“ и т. д.). В беспрерывной битве сердце может озлобиться, зачерстветь, завянуть, как цветы без солнца. Душа ищет свободы, хочет забыться от суетной и грязной повседневности, хочет познать надземное, охватить недостижимое, уразуметь непонятное. Не вздор счастливые сказки о гуриях, о Нирване, о земле обетованной: эти сказки помогают сбросить тяжесть повседневных забот, вдохновляют душу стремлением к раю. Разве можно разумом постичь все, что дано почувствовать сердцу? Разве можно сковать свободный творческий дух? Кто посмеет ввергнуть царицу-поэзию в узилище, кто укажет ей путь или направление,— ей, не желающей знать никаких рамок? „Ставь требования мне, как гражданину — я человек; как поэт, я подчинен законам творчества — из них выростают мои идеи, драгоценнейший клад моей души!“ И в заключение — оговорка: все сказанное отнюдь не обозначает житейского индифферентизма, пренебрежения к „святым скрижалям высоких дум“: но итти в ногу с современностью и быть цельным человеком — вот девиз поэта нашего времени.

Таков знаменательный для украинской поэзии обмен мнений, с некоторым запозданием повторявший споры о цели искусства в эпоху романтиков и парнасцев, возобновленные в конце XIX-го века народившимся символизмом.

Как и символисты, Вороный готов видеть в поэзии средство познания „непостижимого“ — „ключи тайн“. Впрочем, программа его слишком широка и отвлеченна для того, чтобы быть программой определенной поэтической школы. Именно цельности ей и не хватает. Этой цельности нет, кстати сказать, и в собственном творчестве одного из зачинателей новой украинской поэзии — *Мыколы Вороного*.

Его поэзия — творчество типичного эклектика, вроде российских поэтов 80-х годов, старательно работающего над формой, но неспособного ни сообщить своему стиху неповторяемое своеобразие, ни тем более создать образами своей лирики мир, носящий на себе печать сильной и цельной личности. Перелистайте, в самом деле, книгу итогов его творческой работы — „Лирические стихотворения“ 1911 г. Какая тут пестрота — при отсутствии сколько-нибудь ярких красок! Публицистика некрасовского типа — а рядом с нею стихотворение, посвященное музыке сфер; юморески в гейневском духе, скорбные обращения к милой маме Украине, отзвуки народной песни, перепевы и адаптации старинных сказаний („Евшан-трава“), а рядом любовные рефлексии, аллегорические картины природы, нечуждое многословия восхваление красы небес, долин и моря и философские раздумья при виде звездного неба о человеческом ничтожестве, о людской продажности. Лейтмотива не найдешь в этой лирике, хотя сам поэт, повидимому, считает своей „господствующей способностью“ любовь свою к Красоте (конечно, с большой буквы). В одной пьеске он и сравнивает свою душу с хрустальным

мавзолеем, где горит неугасимый огонь во славу богини, чье имя Красота. Правда, если молиться — то, казалось бы, это уместнее сделать в храме, чем в месте, назначенном для погребения мертвых: но поэт об этом забыл, очарованный таким „изысканным" словом, как „мавзолей"... Время оказалось безжалостным к красоте Вороного — поэта: повыцвели краски, поизносились казавшиеся весьма элегантными в свое время заглавия отдельных вещей — типа „Nocturno", „Memento mori", „Ad astra", стали непозволительными глубокомысленные образы вроде Ваала, неизбежно сочетаемого рифмой (любимая рифма Надсона) с „идеалом" и т. д. Красота, которую так славил поэт, оказалась на поверку довольно банальной красивостью. А в искусстве остается глубоко верным замечание Вилье де Лиль Адана: „l'amour du beau est l'horreur du joli" — любовь к прекрасному — это ужас перед красивостью. Мы еще вспомним эти слова по поводу других представителей украинского модернизма.

Нам не следует строго судить Вороного-поэта. Многие ли из его современников (М. Вороный родился в 1871 г.), стоявших на более твердой почве окрепших и без помехи развивавшихся литератур, выдержали с честью испытание времени? Не забудем среды и момента, когда он выступил со своими стихами. Они лежат теперь, как обносившаяся формула: но в свое время они были живы и возбуждали ряды страстных ассоциаций. Важно то, что Вороный был одним из инициаторов перехода украинской поэзии из деревни в город, от банальных перепевов на-

143
Львівська державна наукова бібліотека
№ 57
Львів. Бібліотека АН. УРСР

родной песни — умиравшей в самом народе — и батька Шевченка — к мотивам и формам общеевропейской лирики. Европеизация украинской поэзии — вот одна из заслуг украинского модернизма. Разумеется, она шла постепенно: сам Франко поработал для нее довольно: но завершился процесс именно благодаря поэтам 90-х и 900-ых годов, среди которых, помимо Вороного, мы назвали бы *Крымского*, *Богдана Лепкого*, — и несоизмеримую с ними по силе и влиянию поэтессу — *Лесю Украинку*. Не собираясь давать здесь отдельных портретов каждого из названных, попробуем вкратце характеризовать значение их работы.

Они расширили, во-первых, кругозор украинского читателя (а следовательно и писателя, являющегося своего рода рупором, посредством которого известная социальная группа заявляет о себе другим), введя в его обиход целый ряд художественных переводов произведений всемирной поэзии, от древне-египетских песен до Гете и Шиллера, Гейне и Беранже, „Калевалы" и „Шах-Наме" — знаменитого персидского поэта Фирдуси. Вместе с этим открылась дорога и множеству поэтических тем, дотоле чуждых литературе. Разнообразный и плодовитый А. Е. Крымский, ученый ориенталист, ровесник Вороного, еще в 1889 году выступивший как поэт — в трех томах своих стихотворений „Пальмовые ветви" не только раскрыл перед украинским читателем мир поэтических образов Востока и Запада (переводы из Гейне, из поэтов арабских, персидских, древне-греческих, испанских и др.),— но и впервые живописал украинским словом картины природы

Востока, Сирии и Кавказа. Экзотическими темами и сюжетами богато и творчество Леси Украинки (Л. П. Косач-Квитки), наивысшие достижения которой нашли себе выражение, однако, не в формах лирики, а в форме драматической поэмы, обыкновенно на международный сюжет. Достаточно назвать заглавия этих поэм — „Кассандра", „Каменный гость", „Иоанна, жена Хуса", „Магомет и Айша", „Руфин и Присцилла", „Оргия", „Вавилонский плен" и др. Образы Иуды, Дон-Жуана, Изольды белокурой, Кассандры — впервые за много веков своего бытия заговорили украинской речью. Нужно было проделать большую работу над языком, приспособив его к передаче тонких психологических переживаний, невысказывавшихся дотоле мыслей. При всем том расширение круга тем и сюжетов не было простой пересадкой на украинскую почву чужих цветов: личный и социальный момент остается попрежнему доминирующим — ни тени парнассизма, эстетического созерцания.

Среди восточных пейзажей А. Крымский остается современным человеком, с его взглядами, волнениями, утомленными нервами и всей дисгармонией душевного склада интеллигента конца XIX века. Достаточно ему встретить на чужбине среди роскошной природы пшеничный колос, чтобы в его душе поднялся целый рой сомнений и раздумий, и встала бы тотчас мысль о далекой родине и о родном народе. Еще заметнее это у Леси Украинки, которую недаром Франко назвал единственной мужественной душой среди многих мужчин-поэтов. Иде-

ология поэтессы переросла далеко обычный „гуманизм“ буржуазно-демократической интеллигенции, к которой она принадлежала по происхождению и социальному положению. С началом XX века раскрывшись в своем творчестве целиком — поэтесса представляется нам теперь, спустя десять лет после ее смерти (в 1913 г.), одним из немногих революционных поэтов дореволюционной эпохи. Среди народников, проповедывавших „каганцювання“ (каганец — светильник) в деревне и мечтавших о некотором облегчении для своей культурной работы, среди робких индивидуалистов, писавших любовные элегии и поклонявшихся Красоте — она одна горела истинно прометеевым огнем. Пусть формально ее лирика („На крыльях песен“ —1892, новое изд. 1903; „Думы и мечты“—1899; „Отзвуки“—1902) часто страдает растянутостью, прозаизмами, бедностью рифм, монотонностью ритмов (подлинными шедеврами остаются, как сказано, ее драматические поэмы): но о стихах ее, действительно, трудно говорить только как о „поэзии“... „Это — противопоставление живого человека, потребностей его души и сердца, всяким абстрактным идеалам, рабству мертвого закона, который сковал человека,— говорит один из критиков поэтессы: — это, если угодно, целая программа духовного и культурного возрождения, огонь, который должен зажечь слепорожденных и сделать их *зрячими*! И не в бездушных и механических выкликах: „куйте мечи!“— а именно здесь, в творчестве Леси Украинки, я вижу сильнейшее слово нашей поэзии, самое

мощное выражение новой национальной души после Шевченка!" *

Рядом с Лесей Украинкой, Крымским, Вороным и Богданом Лепким, (род. в 1872 г., литературную деятельность начал в 90-х годах, галичанин) —„поэтом безнадежности и грустных жалоб на горькую судьбу, поэтом осенних мелодий и слабого бессилия" (С. Ефремов) — можно было бы назвать немало других имен, заметных в свое время. В силу различных причин стихи вообще преобладали над прозой в украинской литературе и довольно легко находили себе гостеприимство на страницах немногочисленных, правда, украинских журналов. Об'ясняя в одной из своих статей в „Литературно-Научном Вестнике" значение отдела стихов „Наш альбом", в журнале, Франко когда-то писал: „Мы печатали (там) все, в чем видели искру таланта, искреннее, хоть часто и не вполне безупречное выражение подлинного чувства и серьезную работу над формой. Мы радовались тому разнообразию тонов и форм, тому богатству мотивов и той жизненной правде, которые проявляются у наших новейших поэтов. Мы видели почти у всех наших новейших поэтов искреннюю попытку освободиться из пут шаблона, сбросить с себя клеймо эпигонов шевченковского стиля, хотя бы последний для своего времени — начала 40-х годов — и был новым и подлинно-революционным"...**

* „Литер.-Научный Вестник", 1913, кн. 10, стр. 53 (М. Евшан).
** Там же, 1902, т. 17, стр. 33—34.

Из множества этих поэтов только вышеназванные оказались влиятельными и получили широкое распространение в читательской среде. Они показали украинской литературе, что не только свету, что в окне; они сделали форму более эластичной, более пригодной для выражения мыслей и чувств, созданных новыми условиями изменившейся экономической жизни. Они облегчили работу следующей, второй группы поэтов, своею деятельностью принадлежащих уже нашему веку — хотя так же, как и предтечи, отодвинутых событиями в далекое прошлое. Скажем несколько слов и о них.

II.

Развитию украинской печати в пределах Российской империи до революции 1905 года было поставлено столько препятствий, что печати этой, можно сказать, почти не существовало. Цензура зорко следила даже за тем, чтобы, например, слово „збірник“ — сборник — печаталось не иначе как „збирнык“, и можно было попасть под суд за обозначение звука ы неблагонамеренной литерой. У галичан условия были легче, и в самом начале девятисотых годов мы находим в Галиции об'единения поэтов, из которых дольше других держалась „Молодая Муза“ — издательство, выпускавшее таких поэтов, как упомянутый только что Богдан Лепкий или *В. Пачовский, С. Чарнецкий, С. Твердохлиб, Петр Карманский.* Ни один из них не выдвинулся для читателей в первый ряд, как ни искусны и

ни плодовиты были отдельные авторы этой группы. Разница между городом и деревней в Галиции была несравненно резче, чем в Российской Украине: отсюда оторванность даже самых талантливых поэтов „Молодой Музы“ от почвы, свойственные многим из них мотивы гордого одиночества и скорбного негодования по адресу „терпеньем удивляющего народа“. Насыщенные литературными впечатлениями от польских модернистов — Тетмайера, Каспровича, Выспянского или от европейских поэтов, они и рады бы сговориться и с этим народом, и с близкими к нему группами, но это у них плохо выходит. Идеалистически настроенные, они замыкаются в гордом и мрачном одиночестве, чувствуя себя изгнанниками и среди своих, и среди чужих, и создавая поэзию, проникнутую самым безнадежным пессимизмом. Таков, например, один из самых плодовитых представителей группы — Петр Карманский.

Выступает он в 1899 году с несколько запоздалым пересказом гётевского Вертера — этюдом, пересыпанным стихотворными партиями — „Из бумаг самоубийцы“. Настоящей трагедии не чувствуется у героя, слишком сознательно переигрывающего чужую, вычитанную из книг роль. Слишком очевидны усилия, которые делает поэт, чтобы придать ему трагическую позу. Этот элемент позы, риторики романского типа остается и в позднейших, более современных по форме, сборниках стихов поэта. В 1909 году он выпустил (в издании той же „Молодой Музы“) уже четвертую книгу, с эпиграфами из Кардуччи, Стек-

кетти, Рапписарди и других итальянцев, с детства ему хорошо знакомых (он воспитывался в Италии) — под эффектным заглавием „Плывем по морю тьмы“ — заглавием, вполне отвечающим настроению всего сборника. В предисловии он вспоминает своих читателей и критиков, упрекавших его в недостатке общественного нерва, ставивших ему в вину его эгоизм, называвших его „продавцем искусственной печали“. „Я простил бы себе сам эту минуту слабости, когда я унизился бы до сентиментального Confiteor — простил бы во имя долгого терпенья в этом царстве тьмы и лжи, которое называется „Начало XX столетия Галицкой Украины“. Но простили ли бы меня те, которые меня *знают* и ко мне расположены?“ И он вспоминает горькие слова Заратустры о читателе, еще более горькие сарказмы Мультатули о продажности общественного мнения, и бросает в конце своего предисловия резкий вызов: „Общественность, от всего сердца пренебрегаю тобою!“ А затем идут стихи. Еще раз Украина воспета на мотив гётевского „Kennst du das Land“ — но совсем по иному, чем у российского поэта. Это край, где вечная тьма неволи сделала людей слепыми, где смех вместе с горем выводят на гробах отчаянный танец, где завистливая толпа побивает пророков каменьями, где всякий блеск красоты прячут под спуд, где всякий смелый порыв только морская пена,— край, проклятый богом, окутанный тьмою, бедный, пропащий... Вся первая часть книги „В ярме“ посвящена этому ювеналовскому негодованию. Поэт мечет громы и обливается кровавыми сле-

зами: но какой же выход из положения, кроме смерти— а она исключается, раз поэт остается жить и негодовать. Иногда мы слышим призывы к борьбе — но они произнесены так, что вы сразу чувствуете тон голоса, вопиющего в пустыне; иногда поэт как будто сам *собирается* взять на себя крест народного страдания; что-то чувствуется ему грозное в молчаливом вулкане народной души, которая „тревожит врагов величьем своего терпенья"— но настоящего выхода нет. „Мерзок для меня весь свет, жизнь и люди". Та же безвыходность и безнадежность и в душе самого поэта, по сердцу которого прошло острым плугом отчаяние, где все в обломках, в руинах, в пепле. Но обо всем этом сказано с такой аффектацией, так элегантно, что прочитав книжку, мы уже не боимся ни за себя, ни за самого поэта.

Творчество Карманского, равно как и творчество его талантливого ровесника В. Пачовского, выступившего несколько позже (в 1901 г.) со сборником стихов на любовные темы („Рассыпанные жемчуга") и прославившегося патриотической мистерией „Сон украинской ночи", в стиле „Свадьбы" Выспянского — несмотря на их формальные достоинства — не выдерживало конкуренции с творчеством поэтов российской Украины. Именно последняя, переживавшая период быстрого промышленного роста, становится жизнетворческим центром украинской культуры — и становится надолго. Революция 1905 года, несколько облегчившая условия существования украинской печати, вызвала оживление и в журналистике, и в области художе-

ственного слова. Из поэтов, более или менее вы снивших свой творческий облик в промежуток между дву я революциями (1905 года и Октябрьской) наиболе видное место принадлежит, конечно, Филянскому, Олесю и Чупринке.

Относительно *Мыколы Филянского*, впрочем, нужно сделать оговорку. Мы назвали его имя первым, конечно, лишь потому, что он выступил раньше двух других (его первый сборник „Лирика"— 1906 г.) и раньше других замолк, как-то затерявшись со своими стихами в потоке новых книг и событий. Это не мешает ему пользоваться и до сих пор любовью немногочисленных, правда, ценителей. Широкой популярности и не может приобрести эта лирика идеалистических раздумий, далеких от „суетного" мира, лирика созерцания, „внутреннего делания", сдержанная по краскам и строгая в выражении — однообразная и по темпам, и по форме. Во всяком случае, на ней лежит печать определенной индивидуальности. Перелагающий богослужебные песнопения, охотно пользующийся символикой религиозного обихода, одиноко беседующий с богом и природой и где-то на чужбине мечтающий и скорбящий о родной стороне — Филянский прошел мимолетно, не оставив после себя продолжателей. Есть сведения, что Филянский пишет и в настоящее время: возможно, что он не высказался до конца в двух изданных им до сих пор книгах, и что они — только этап его творческого пути. Время шло, во всяком случае, другим темпом, не похожим на maestoso автора „Calendariam'a", изданного „в лето

господне 09-ое" (заглавие второго сборника стихов поэта).

Филянский не связан ни с каким журнальным кружком — ни с группой „Литературно-Научного Вестника", перебравшегося из Львова в Киев, ни, конечно, с группой марксистского ежемесячника „Дзвін", ни с группой „Украинской Хаты", собравшей вокруг себя и уже названных нами галичан — Лепкого, Пачовского, Твердохлиба, и выдвинувшей двух новых поэтов — Олеся и Чупрынку. Особенная популярность выпала на долю первого, уже с первого своего сборника „С печалью радость обнялась" (1907) завоевавшего и симпатии читателей, и власть над начинающими поэтами. Передовая буржуазная интеллигенция, для которой творчество Леси Украинки было слишком революционным по своему пафосу, слишком суровым по отвращению к какому бы то ни было компромиссу, нашла в *Олесе* (псевд. А. Кандыбы, род. в 1878 г.) своего поэта, очаровавшего ее и богатством поэтических образов, и мелодичностью стиха, и гражданским под'емом. Все, жаждавшие обращения Украины в самостоятельную „демократическую республику", ухватились за молодого поэта с его музой, „музой гнева и разуверенья" — как назвал ее авторитетный критик, находивший, что „от Олеся услышала Украина не только истинно-поэтическое, но одновременно и бесспорно мужественное слово", которое, как он надеялся (в 1910 году), не перестанет откликаться и на будущие события...* Раздались, правда, потом и другие голоса,

* С. Ефремов. Муза гнева и разуверения. К. 1910. стр. 41.

уверявшие, что „Олесь — прекрасный лирик до тех пор, пока он остается в сфере личного, но не трибун и не пророк", что недостаток идеологии, узость поэтического кругозора как раз являются слабою стороной его таланта. Поэтому-то, указывали они, Олесь и „исписался" так рано, и начиная с пятой своей книги едва-едва достигает половины своего собственного роста*.

Против этого можно возражать. Олесь — несомненный трибун, только, разумеется, не „народный", а трибун той социальной группы, которая руководила революцией 1905 года и которая к моменту подготовки новой, великой революции, оказалась уже сыгравшей свою историческую роль. Она дошла вместе с своим трибуном до этого момента, дошла и так же опустила руки, как герой драматической поэмы самого же Олеся, написанной в стиле ранних драм Метерлинка —„По дороге в сказку". Люди бродят толпою в лесу, ищут выхода; юноша, одушевленный верой в светлую „сказку", берется вывести их из темной чащи. Выход, может быть, и недалек, но путь тернист, сомнения и нерешительность охватывают вождя — и едва толпа чувствует это, в ней пропадает всякая вера в него и всякая надежда найти выход из леса. Он остается один, покинутый разошедшимися в разные стороны людьми. Историческая действительность сообщила сказке Олеся иной конец: „толпа", действительно, покинула юношу, но для того, чтобы найти выход без его руководства... В эпоху

* М. Зеров. Новая украинская поэзия, сборник, стр. XII

1905 года еще почти никто из украинской интеллигенции не думал, что „толпа“ на это способна; немногие думали это и в 1913 году, когда отдельным изданием появилась пьеса-сказка Олеся. Его творчество, во всяком случае, остается чрезвычайно важным документом — и по своим темам, и по своей форме — в истории развития украинской лирики.

Критика причисляет обыкновенно Олеся к символистам; российский читатель, имеющий перед собой символистов — А. Белого, Блока, отчасти Бальмонта и Брюсова, не найдет аналогий между Олесем и ими. Символизм типа А. Белого вообще остался чужд украинской лирике. Не привилось в ней и „искусство для искусства“, даже после того, как старый лозунг служения искусства народу был оставлен и даже подвергнут критике. Разумеется, наивно ссылаться, например, на такие вещи поэта, как „Астры“ (в первом сборнике), как на образец символической поэзии. Такого рода символизм не чужд, например, и Гаршину („Attalea princeps), а если угодно, и Апухтину, у которого, кстати, тоже есть стих. „Астрам“. К символизму Олесь иногда подходит, как например, в упомянутой только что драматической поэме; но его можно скорее уж назвать романтиком с некоторыми чертами импрессионизма, и только. Он никогда не замыкается в рамках собственной личности, не уходит ни в мистику, ни в оккультизм, ни в ницшеанство: он очень осторожный новатор и в области формы, чрезвычайно редко отступающий от традиционных метров и весьма умеренно пользующийся неоло-

гизмами. Он умеет находить красивые образы, не изыскивая их: когда он говорит о месяце, который играет в небе, как золотой дельфин, или об осени, вышивающей на зеленой канве золотые цветы, или о ночи, которая течет так тихо, тихо, и ведет за руку день, чье белое личико и золотое платье уже показалось издали, или о солнце, которое согрело землю своим золотым крылом и т. п.— эти образы пленяют нас, не требуя никакого напряжения для их расшифровки. Это краски и символика, близкая народной песне, которую Олесь умеет иногда так хорошо воссоздавать, не вдаваясь в наивный этнографизм поэтов предыдущего поколения, но в то же время и не задаваясь целью чисто эстетической, формальной стилизации (см. напр. его стих. „Ой була на світі та удівонька"— т. е. вдова, или „Песню слепых" и др.). Но не уходя в изысканность, не прибегая к словотворчеству, Олесь любит слово, родное слово, которое он сравнивает со скованным орлом, в котором ему слышится и шум дерев, и музыка голубооких звезд, и „шелковая" песня широких степей, и львиный рев Днепра, бьющего о пороги. Он умеет извлечь из него скрытую в нем и пропадающую часто в обыденной речи музыку, не прибегая к звукописным фокусам, которые так любит, напр., Бальмонт, но напоминая иногда последнего своими аллитерациями и звуковыми повторами („Тише, тише не дыши: нас услышат камыши" или стих. „Косят косы" и др.). Украинским читателям давно, действительно, „не приходилось читать таких красивых, артистических со стороны формы стихо-

творений" *. Форма пленяла, не разрушая грубо традиционных эстетических навыков, не заставляя трудиться над ее восприятием; содержание — любовь, никогда не переходящая в эротику, бесконечная и глубокая красота матери-природы, гражданские чувства — переходы от сомнений к надеждам, от порывов к свободе — к признаниям бессилия ее завоевать, от грозного обличения рабов—к задушевному сожалению и плачу об угнетенных, — все это также было близко душе украинского интеллигента. На него поэзия Олеся производила впечатление искренней, настоящей поэзии. Творчество его современника и отчасти соперника *Григория Чупрынки*, напротив, имело неполный и мимолетный успех, и он оставил по себе память виртуоза, изумлявшего своим искусством, но никогда не ударявшего по сердцам с неведомою силой.

Украинская критика часто осуждала Чупрынку (род. в 1879 г.; первый сборник „Огнецвет"— 1909 г.) за его доведенный до крайних пределов индивидуализм (особенно резко выраженный в лирической поэме „Рыцарь я", 1913 г.) — но в исключительном мастерстве его формы сомневалась редко. В частности, его считают большим мастером ритма. Среди стихотворений Вороного мы находим восторженное послание к Чупрынке, который прославляется здесь, как „чародей, вещун-певец", знающий „тайны волхованья", носящий венец страдальца, певец прежде всего. Где-то в другом месте Вороный сравнивал Чупрынку даже

* „Литер.-Научный Вестник", 1909, кн. 7, стр. 5 (О. Білоусенко).

БІБЛІОТЕКА НАУК. ТОВ. ім. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ

с Верленом... На самом же деле „волхвованье“ Чупрынки далеко не такая хитрая штука, как это казалось и его поклонникам, и ему самому. Действительно, стих его легок и эластичен; рифма у него изобилует, являясь и в конце стихов, и в середине, и в начале; широко пользуется он всевозможными средствами звукописи — но всего этого не должно переоценивать. Перечитывая его стихи, почему-то упорно вспоминаешь „Колокольчики и колокола“ Эдгара По в переводе Бальмонта. В российской поэзии этот перевод был когда-то известным формальным достижением; его усердно перепечатывали во всех „Чтецах-декламаторах“, им увлекались, ему подражали. Сейчас его мелодичность уже не поражает после ряда более совершенных созданий самого Бальмонта, после стихов Блока. Чупрынка как-будто попал под обаяние этого стихотворения, и напев его с незначительными вариациями неизменно слышится нам в большинстве стихотворений поэта, написанных неравными по количеству стоп стихами (см. напр. „Лен“, „Ураган“ и др.). О подлинной мелодичности в стихах Чупрынки не может быть и речи. Это не музыка, а позвякиванье бубенчиков. Это „дзеньки-бреньки“, как начинает одну из своих вещей сам поэт. Что же касается мира образов, выплывающих на волнах этого ритма — он беден и монотонен, как ни старается расцветить его поэт, не брезгающий и сусальным золотом для придания блеска своей речи. Критика отмечала, напр., необыкновенную скудость эпитетов у Чупрынки:* но она

* М. Богданович, „Укр. Жизнь“, 1915, № 11—12, стр. 45.

недостаточно отметила его безвкусие, его неловкие прозаизмы, так внезапно разрывающие ткань его звучной и нелишенной внешней красивости речи. Ему ничего не стоит, напр., в любовном стихотворении, обращаясь к женщине, заявить ей, что его любовь не зависит от форм ее красоты (переводим буквально: „мое кохання не залежить од форм твоєї красоти"), или оперировать выражениями вроде: „моя душевная драма", „сонная поэтичность", „любовь-миниатюра", „квинт-эссенция страданий" и т. д. Это не случайные промахи, а изысканные рассудочно обороты, как и стих типа —

не в экстаза декадансе, не в тяжелом сонном трансе...

Российский читатель готов вспомнить тут Игоря Северянина: но генеалогия Чупрынки древнее, да и сам он старше Северянина. Если искать в российской поэзии его родственников, пришлось бы указать даже не на Бальмонта, а на Бенедиктова, из которого Чупрынка недаром взял как-то эпиграф. У Чупрынки источник — „дивный нерв подземный". Это, конечно, не хуже гор, „побегов праха к небесам" у Бенедиктова. Но и Бенедиктовы, и Чупрынки необходимы для того, чтобы поэтический язык рос и развивался.

О темах Чупрынки, после сказанного, говорить не приходится. Это темы расхожие, напрокат взятые из запаса, накопленного традицией. Тут и природа, и любовь (в разработке любовных тем Чупрынка, заметим к его чести, никогда не впадает в дешевый эротизм Бенедиктова), и стихи об Украине с оттенком некоторой граж-

данской скорби, и всевозможные авторские самопояснения, и даже стихи на мотивы народных поверий и сказок. Банальность своих тем и своего стиля поэт порою как будто сам чувствует. Нельзя же топтаться все на дороге, проложенной предшественниками. Не пора ли, например, оставить старый классический хлам вроде муз, алтарей, Феба и прочего. Это совсем не идет к нам: „наши музы не в церквах, а давно на вольной воле, на долинах, на горах, на воде, на суходоле". Так убеждает Чупрынка какого-то поэта-народника: для себя, „эстета", совет свой он считает, должно быть, необязательным, и через страницу сам обращается к музе.

Как метеор (заглавие одного из сборников Чупрынки), прошел автор „Огнецвета" по украинской литературе и исчез, подобно метеору. Читатель увидел, что украинский стих таит в себе много еще не использованных возможностей. Но создать стих, не только легко соскользающий с языка, но наполненный истинно-музыкальным содержанием, суждено было не Чупрынке, а одному из поэтов следующей — третьей, современной нам группы украинских лириков, к которой мы и перейдем.

III.

Сколько бы нежных и гордых слов ни говорили поэты старших поколений о красоте, сколько бы ни старались они казаться индивидуалистами, не должно ни слов их, ни поз принимать тотчас же на веру. Настоящего индивиду-

ализма еще не знала украинская поэзия, как не знала она и „чистого“ искусства. Одни журналы проповедывали служение искусства народу, другие говорили об искусстве самодовлеющем („Украинская Хата“) — но и те, и другие, одинаково и в стихах, и в прозе, скрыто и открыто лелеяли одну мечту — мечту о национальном освобождении и возрождении. В этом отношении совершенно прав украинский критик, озаглавивший свою книгу о поэтах послереволюционной эпохи „Vita nova“ и утверждающий, что Вороный, Карманский, Олесь, Чупрынка и их сверстники „только дополнили Шевченка“. Как он, так и они, действительно, „носили в себе незажившие раны былого и невыплаканные слезы грядущего, поддерживали в душе пламя украинского возрождения, оставались в зачарованном кругу современности, тревожно, неловко и несмело проговариваясь иногда насчет эстетизма и творчества „для себя“ *. А между тем рядом, под боком, расцветала российская лирика, проникнутая по большей части иными настроениями. Долгое время вслушаться и вчувствоваться в них мешал воинствующий национализм. В 900-ых годах на одном из бульваров Харькова, по примеру других городов России, был поставлен более чем скромный бюстик Пушкина. Несколько неожиданно на него было сделано покушение: взорвать его не удалось, поврежден был слегка только гранитный постамент, а в городе оказались прокламации, об'яснявшие цель покушения: „Раз нет на Укра-

* Андрей Никовский. Vita nova, критич. эскизы, Киев, 1919 стр. 6. (На укр. яз.).

ине памятника Шевченко — не нужно и памятника Пушкину". В такие наивные формы укладывался иногда протест украинской интеллигенции против гнета российского империализма.

И вдруг, не менее неожиданно, в 1913 — 1914 г.г. появляется поэт, заявляющий в одном из своих многочисленных сборников: „Ныне Шевченко — у меня под ногами". Разумеется, серьезно принять это могли только наивные и ортодоксальные „радяне" (сотрудники и читатели газеты „Рада", народнического толка) — но в 1914 году их было еще достаточно. К тому же поэт, очевидно задавшись целью наносить „пощечины общественному вкусу" — в стихах своих то обращался к богу с предложением поменяться ролями, то заявлял о своем намерении раздеться у памятника Богдана Хмельницкого и показать всем, какое у него красивое тело и т. д. А в своих прозаических манифестах этот, покамест еще одинокий новатор — поэт *Михаил Семенко* (род. в 1892 г.; автор двадцати с лишком отдельных книжек) — настойчиво утверждал, что национальная эпоха в искусстве уже пережита, что только „батьки" могут тешиться „родным" искусством, умирая вместе с ним, а что молодежи, не получившей от стариков ничего в наследство, необходимо „догонять сегодняшний день".

В российской поэзии этим сегодняшним днем был тогда футуризм, переживавший еще пору золотого детства, неоформившийся, но вызывавший почти единодушное глумление критики. Впрочем, Игорь Северянин уже пленял

сердца не только изысканных полудев, но и маститого Федора Сологуба: с Северянина Семенко и начал, довольно долго не выходя из-под его власти и добросовестно его пересказывая: „Кверофутуризм“ — так окрестил Семенко свое направление — по существу весьма мало отличался от „эгофутуризма“. Северянин, называющий себя гением, повсеместно об'экраненным и повсесердно утвержденным, находил себе полную параллель в авторе киевских „поэз“, который говорил о себе, как о поэте, бросающем свою песню на веки веков, не имеющем равных * и т. п. Не только украинской музе, но и самому поэту нелегко было энергичным прыжком от Олеся и Чупрынки через Андрея Белого и Блока перемахнуть к „мороженому из сирени“. Поэт прослыл „пакостником, обльвшим помоями батька Тараса“, его громили, оплевывали и секли журналы ** и на время он смолк, исчез — чтобы после 1917 года явиться из далекого Владивостока с новыми сборниками, встреченными и прочитанными уже иначе.

Но 1917 год стал вообще началом новой эпохи в украинской лирике. Один за другим, в самые неблагоприятные — пожалуй, еще более неблагоприятные, чем в России — для печатания годы выходят новые книжки стихов, выступают новые поэты. Мы знаем волну стихомании,

---

* См. напр.: „Алейтеся звуки тимпанов-грамбонов — алейтеся тени поэтов-божков—явился я к вам из-за молний и громов—я кинул вам песню на веки веков“.

** „Украинская Хата“, 1914, № 5 (В. Сриблянский).

прошедшую в это время и по России. В самом факте обилия стихов мы не видим еще ничего примечательного. Конечно, и на Украине в революционные годы изготовлялось немало стихотворной макулатуры. Но разница в том, что на украинском языке, который все еще в росте, в сложении — трудней обмануть читателя, подсовывая ему поддельные алмазы вместо самородных. Причины понятны: вспомним, что когда-то в российской литературе Тредьяковский, автор тяжелых и для своего времени русских стихов, писал нелишенные элегантности французские мадригалы и элегии. Это вопрос из области психологии творчества: факт тот, что в свете ярких звезд, загоревшихся на исходе старой эпохи в украинской лирике — коптящие и мерцающие огоньки бездарных кропателей просто трудно было заметить. Украинское движение вышло из революции и несет в себе революцию, говорили после 1905 года украинские социалисты. Можно утверждать, что именно революция 1917 — 1918 годов создала, прямо или косвенно, расцвет украинской лирики, которая откроет, а отчасти уже открыла украинской литературе новый путь — путь из Диканьки, милой и поэтической, но все же глухой деревни — в Европу.

„Чувство революции" в украинской лирике 1917 — 1923 годов будет когда-нибудь предметом особого изучения: в нашу задачу не входит изображение той зигзагообразной линии общественных настроений, которая вела новейших украинских поэтов от радостного момента национального освобождения 17-го года к моменту сознательного приятия

ими социальной революции, пролетарской Украины. Но российский читатель, знакомясь с произведениями этих поэтов, должен не упускать из виду различий в характере и темпе революционной борьбы в России и на Украине. Центральная Россия не знала этих скачков от одного положения к другому, этой калейдоскопической смены правительств, этого непрерывного брожения, бандитизма, погромов — какие пережила за эти годы Украина. Начиная от первого универсала Центральной Рады и от „куцой автономии" 10-го июня 1917-го года — и вплоть до февраля 1921 года (пятый с'езд советов), момента ликвидации политического бандитизма,— Украина кипела, как огромный котел на непрестанно распаляемом, неистовом огне, и в этом котле вываривались мысли и чувства, заново пересоздавались мировоззрения, неузнаваемо менялись люди. Немудрено, что литературные явления этой поры представляют чрезвычайно пеструю картину. Понятны те затруднения, какие испытывает критик, желающий в данный момент классифицировать эти явления. Такая классификация и в украинской литературе дореволюционной поры была иногда нелегким делом. „Распределять наших писателей по общепринятым рубрикам направлений — труд далеко не легкий и даже не всегда возможный", жаловался еще в начале 900-х годов историк украинской литературы С. Ефремов. Один и тот же писатель в своем творчестве дает образцы различных, друг друга исключающих стилей. Сколь труднее стало это, когда водоворот событий закрутился с ужасающей быстротой!

Вот отчего намечавшиеся в период с 1918 по 1922 годы группировки писателей — различные альманахи и журналы, от киевских „Литературно-критического альманаха“ 1918 г., „Музагета“ 1919, „Искусства“ 1919, „Гроздьев“ 1920, екатеринославского „Водоворота революции“ 1921 — до харьковских „Путей искусства“ (1921, № 1) — в своей критической части поучительные, как этапы пути, пройденного общественной мыслью *— в поэтическом отделе не дают замкнутых картин, отличаются всегда разнообразием матерьяла, предоставляют слово людям несходных художественных принципов. Поэты, выступившие после 1917 года, по отдельным своим вещам могут быть определяемы, как символисты, футуристы, неоклассики, неоромантики — но все эти клички не покрывают их творческой личности в целом. Можно выделить в особую группу, пожалуй, только пролетарских поэтов. Остальных необходимо рассматривать индивидуально.

Это не лишает поэзию данного момента свойств, общих всем ее представителям. Во-первых, именно революционные годы свалили давно уже шатавшуюся стену между литературой российской и украинской. Это привело, между прочим, к тому, что российские влияния теперь заметнее, чем раньше. Во-вторых, на смену прежних ритмических форм явился „свободный стих“— тот vers libre, по большей части нерифмованный, каким пишет сейчас большинство украинских поэтов и который имеет некоторые

* Об этом см. В. Коряк, Этапы (сб. „Жовтень“—„Октябрь“, Харьк. 1921, стр. 83—94; на укр. яз.).

корни и в старой народной или полународной поэзии дум и исторических песен. Он привел, конечно, к разрушению правильно чередующихся строф, он побудил поэтов и к иной системе поэтических образов. В то время, как многие пролетарские поэты России пользуются еще художественными формами дореволюционной поры, их украинские товарищи стремятся революционизировать и форму, правильно, хоть и бессознательно учитывая факт неразрывной слитности содержания и формы в поэтическом произведении.

Творчество всех современных украинских лириков связано с революцией. Но одни из них начали свою работу еще до 1917 — 1918 годов; другие возникли, как поэты, в самом процессе революционной борьбы. К первым относятся, напр., уже названный нами М. Семенко, а также *М. Рыльский, П. Филиппович, Д. Заул, П. Тычина, Я. Савченко, О. Слисаренко, В. Ярошенко, Я. Мамонтов.* Остановимся несколько на каждом из них в отдельности.

Революция застала М. Семенко во Владивостоке, откуда он возвращается в украинскую литературу в 1918 году с лирической трилогией — „Пьеро кичится", „Пьеро любит", „Пьеро мертвопетлюет" — тремя книжками „интимных стихов", именуемых то „поэзами", то „элегиазами", „порнографизами", „поэзофильмами" и т. д. Штамп Северянина, популяризатора изысков, еще довольно четко оттиснут на этих книгах. Впрочем, термин „порнографиза" не должен никого вводить в заблуждение: у Семенко он употреблен едва-ли не единично, да и вообще

эротические мотивы занимают в его творчестве второстепенное место. Он хочет быть поэтом города, улиц, грохочущих экипажами, домов, заслонивших небо, тротуаров и кафе, кишащих многоголовым чудовищем — толпой: в свои стихи, написанные асиметрическими ритмами, с ассонансами вместо рифм, или без ассонансов и без рифм, он хотел бы перенести всю музыку шумов огромного людского муравейника, весь трепет его обыденной гигантской жизни. Он зарисовывает городские драмы, бросает в стихи сырой матерьял хроники происшествий, широко пользуясь прозаизмами, иностранными словами, словами, специально созданными по примеру учителей, среди которых все заметнее становится приходящий на смену Северянину Маяковский. Но положение украинского урбаниста не из легких: волей-неволей ему приходится часто играть роль Тартарена или Дон-Кихота и творить из ничего своего „бешеного, задымленного зверя". Самый большой из украинских городов — Киев по сравнению с грезящимися поэту Нью-Йорками и Мельбурнами — еще недавно был только большой деревней, где автомобили чаще пыхтят и смердят, чем носятся, где дома только с большой натяжкой можно назвать „хмародрялами", где над Подолом долго высилась только одна труба — паровой мельницы Бродского (А. Никовский), и где урбанизм, несмотря на все старания, остается литературой — и только литературой. Революция, во всяком случае, разрушила хотя бы dolce far niente этого утопавшего в тополях, каштанах и акациях города. Семенко, еще во Владивостоке „растерянно пересма-

тривавший коммунистические теории" со всей искренностью поэта, являющегося эхом своего времени, стал революционером: на смену „элегиаз" пришли „ревфутпоэмы" („Товарищ Солнце" — 1919; „Поэма восстания" и др.), также по образцу Маяковского, преисполненные пафоса и энергии выражения — но почему-то не захватывающие, не производящие впечатления цельного и крепкого создания. Может быть, потому, что в Семенке, действительно, враждуют два начала — художник и теоретик, не приходящие к синтезу, потому, что у него очень восприимчивый и переимчивый ум, потому, что способность к импровизации у него доминирует над способностью к работе, потому, что склонность к эпатированию осталась у него и сейчас, когда в сущности уже некого эпатировать. Вместе с группой единомышленников он становится в 1922 году „панфутуристом" (сборник „Семафор в грядущее"), перепечатывает свою „Кабло-поэму за океан" — и, вероятно, выступит вскоре со сборником собственных произведений, для того, чтобы на новом этапе быть причисленным к экспрессионистам, конструктивистам или иным, но непременно стоящим на крайнем левом фланге поэзии. Его значение в инициативе, возбуждении: он непрестанно бьющийся пульс литературного мира. В данный момент он уже не одинок, и рядом с ним представителями футуризма в украинской поэзии являются, например, *А. Слисаренко* (выступивший вначале как символист), автор „Поэмы презрения", *Гео Шкурупий* („Психетозы" 1922, „Барабан" 1923), молодой поэт, уже давший такую интересную по замыслу вещь, как

„Ликарепопиниада“ *, исполненная „горечи и злости“, *Юлиан Шпол* и другие. Футуризм облегчил пролетарским поэтам их искания в области формы, и уже в этом его оправдание для украинской литературы.

Михаил Семенко уже успел разворошить и растревожить украинский литературный мирок в то время, как влияния российских символистов еще очень слабо успели обозначиться в лирике. А между тем группа его сверстников в это самое время серьезно бралась за изучение российской поэзии конца XIX и начала XX веков, читала Бальмонта и Брюсова, Иннокентия Анненского и Блока, В. Гофмана и акмеистов; вместе с тем восходила и к первоистокам российского модернизма — к французским символистам и декадентам, к Бодлеру и Верлену, и дальше к Верхарну, которого ввел в обиход русского читателя тот же Брюсов. Символизм, как литературное течение, не охватил вследствие этого украинской лирики; но повысился уровень техники, расширился идейный охват поэзии. Среди поэтов, вышедших из школы символизма и так или иначе преодолевших его — первое место принадлежит *Павлу Тычине*, несомненно, самому крупному из украинских поэтов XX века вообще.

Тычина еще сравнительно молод (род. в 1891 г.): им издано до сих пор только четыре отдельных сборника, из которых четвертый — маленькая брошюра („Солнечные кларнеты“, 1918, 2-ое изд., 1920; „Плуг“, 1920; „Вместо со-

* Непереводимое слово от *лікар* — лекарь и *піп* — поп.

нетов и октав", 1920; „В космическом оркестре", 1921) — но их достаточно для того, чтобы оценить в Тычине дарование не только украинского, но — без всякой гиперболы — общеевропейского значения. Литературные влияния (в частности от российской поэзии, хорошо известной поэту) переработались в его сильной индивидуальности, питавшейся неиссякающим источником народной песни, вскормленной другим близким поэту искусством — музыкой, формировавшей не только стиль, но и все мироощущение поэта. Недаром его первый сборник назван „Солнечные кларнеты". Это не просто оригинальный образ: за этим названием целая философия, своеобразная философия космической гармонии, которая стала идеалом поэта, отрекшегося от старых богов человечества — и от Зевса-отца, и от Пана, и от Голубя-Духа. Вселенная — это музыка, ритмическое движение, звук: язык для поэта не столько способ высказывания мыслей и чувств, сколько путь к выявлению звука, который сам рождает мысли и чувства, подобно тому, как это бывает в музыке. То, что для Верлена, например, было лозунгом, средством создания песни, „где неопределенное сочетается с изысканными" (où l'Indécis au Précis se joint), для Тычины прирожденный и привычный способ восприятия жизни. Неизвестно, сказалось ли тут знакомство с Ницше, о котором хочется вспомнить, читая в третьем из сборников поэта афоризмы в роде: „социализм без музыки не установить никакими пушками" — или: „я никогда не полюблю женщины, у которой нет слуха". Но несомненно, что поэзия Тычины ро-

дилась из духа музыки — и в этом отношении его творчество — исключительное, не имеющее себе прямых аналогий ни в российской, ни в западно-европейской литературе, явление *.

Говорит ли он о природе, о любви — этих вечных лирических темах — передает ли свои наблюдения над человеческой жизнью — музыкальное начало господствует в его стиле, управляя его вольными ритмами, богатейшей звукописью, образами, даже композицией его пьес. Земля звучит для него, как орган: за частоколом слышится зеленый гимн, и поет тропинка на огороде; тополя, уходящие вдаль, словно наигрывают минорную гамму; лес молчит в печали, в черном аккорде; над дорогой верба ловит звонкие дождевые струны — подобно самому поэту, одинокой вербе, перебирающей струны Вечности; душа поэта звенит, как струны степи, туч и ветра, в ней—„и бури, и грозы, и рокотанья, рыданья бандур"... Даже рана звучит („Цвет в моем сердце"). Музыкальное начало определяет стиль, не придавая ему никакой односторонности: поэт не только слышит, но и видит — и достаточно перечитать в его первой книге, напр., циклы „Пастели", „Энгармонично", чтобы почувствовать, как он по новому заставляет нас увидеть природу. Она говорит с поэтом: это не банальное, о многих высказанное утверждение; это не случайное настроение, это — часть цельного мировоззре-

*) Польский критик журнала „Skamander" сравнивает, впрочем, Тычину с А. Ренбо. Аналогия, конечно, весьма условная (см., „Skamander", 1922, т. III, стр. 384).

ния, органического отношения к явлениям природы и духа. Отсюда — целая серия оригинальных образов, где слуховые ощущения соединяются со зрительными (напр.: „И пень обгорелый, как поп на могиле —„Бессмертный, помилуй!“ кричит молчаливо“ и др.).

Но Тычина не только мастер звука, чудесный лирик природы, философ, некоторыми чертами близкий к Сковороде, которого он избрал героем своей новейшей поэмы и которому посвятил свою книгу „Вместо сонетов и октав“. Он украинский поэт революционной эпохи, и книги его — драгоценный документ для знакомства с настроениями украинской селянской интеллигенции в эту эпоху. Уже в „Солнечных Кларнетах“, создававшихся в значительной части в эпоху национальной революции, мы находим такие удивительные вещи, как „Золотой Гомон“, „Дума о трех ветрах“, „Скорбная мать“, „Открывайте двери“, где патриотическое чувство нашло себе совершенное выражение в формах, отчасти навеянных народной поэзией, но переработанных по своему поэтом. Вот момент возрождения: по дорогам, тропинкам, по межам, из сел, из хуторов идут — в Киев; бьются в такт сердца идущих, звенят, как солнца, идут и смеются, как вино, и поют, как вино: „Я сильный народ! Я молодой!“ Радостно, словно для встречи невесты, собрались они — очи, сердца, хоры, ждут грядущую голубицу: вот откроются двери для нареченной... Но двери раскрылись: страшная, воробьиная ночь, все дороги в крови, невыплаканными слезами, тьмами льется дождь. Вместо радости — новые скорби: но когда

поэт говорил о них в стих. „Скорбная мать", он еще не подозревал, быть может, что не меч, а плуг пройдет по человеческим сердцам, взрывая их к новой жизни, что он стоит не накануне исторических испытаний для своего народа, а накануне великого испытания для всего человечества, накануне социальной революции.

Ей посвящена его вторая книга „Плуг", книга железных тонов, книга, где звучит уже не орган, а фанфары, не ветер, а буря, поднятая за черными тучами миллионом миллионов мускулистых рук... Пролетарий мог сразу принять революцию — дело своих же рук: селянин должен был ее выстрадать, должен был перегореть, переплавиться в огненном хаосе событий. И вот — вопли украинца, гетманской или иной контр-революцией вдруг отрезанного от России: слышит поэт голоса из-за рубежа, голоса поэтов, славящих взошедшее солнце („И Белый, и Блок, и Есенин, и Клюев"...) — на которые некому отвечать здесь на Украине, где „чернозем поднялся, смотрит в глаза, кривит лицо кровавым смехом"; вот картина деревенской революции, которая „идет" на майдане, возле церкви; вот, наконец, цельный образ хаоса —„Псалом железу", — вещь, значение которой в украинской лирике хотелось бы сравнить со значением „Двенадцати" Блока в российской, хоть между двумя произведениями нет сходства ни в образах, ни в настроении. Но их роднит то, что они оба — чрезвычайно меткое и полное выражение настроений, пережитых в определенное время социальными группами и нашедших

свое выражение в поэтах. „Ненавидим проклятую медь, бетоны и чугуны!“ Это начало первой из четырех частей „Псалма железу“ — так характерно для психологии человека земли, уже почуявшего издали тяжелую поступь грядущего „чугунного Ренессанса“. Неизбежна победа города, машины, организованного труда над анархическим производством, коллектива над личностью. Но и сознавая это, селянин протестует из глубины души, и только горькие уроки истории приведут его к примирению с логикой вещей. Тема „Псалма“ — город, переходящий от белых к повстанцам и после повстанцев занимаемый коммунистами. Острая жуть смутных предчувствий и ожиданий, горькая обида от сознания полного бесправия и человеческой бессовестности, исступленно-экстатическое отчаяние при виде бессмысленного разрушения — и, наконец, момент прояснения, глубокий вздох после прекратившейся пытки — как знакомо все это многим, переживавшим смутный 1919 год на Украине!

Путем долгой внутренней борьбы и работы над собою Тычина пришел к приятию революции и сознательному, философскому ее оправданию. Он прав в своих инвективах против „казенных поэтов“, выращивающих романтические цветы на крови братьев и кокетничающих с революцией. Они не пережили той глубокой драмы, которая завершена пока у Тычины величественными аккордами цикла „В космическом оркестре“. Мы не будем касаться его „планетарной философии“: она внушает поэту иногда прекрасные лирические раздумья — но вместе с тем как-то

подавляет стихию песни, в которой поэт выказал себя полновластным хозяином. Философ может, конечно, жить в поэте: но поэтическая философия все же отличается своим специфическим, языком, своим особым „подходом" к мысли, без которого отпадает и самая надобность в стихотворной форме. Конечно, не один Лукреций писал научные трактаты в стихах: но в научном трактате фантазии, как таковой, уже не должно быть места. Вот почему мы думаем, что поэту, организующему мир эмоций, по средневековому выражению —„философствовать должно, но не слишком", и с некоторым опасением готовы смотреть на кое-какие из последних вещей поэта.

Рядом с Тычиной — о котором данные строки могут сообщить только поверхностное понятие * — несоизмеримы достижения других поэтов, как и он, выроставших под известным влиянием символизма. Таков *Дмитро Загул* (род. в 1890 г.), поэт, дебютировавший в 1918 году маленькой и несколько старомодной книжкой „С зеленых гор" (по происхождению поэт—буковинец, лишь в 1917 году очутившийся в пределах приднепровской Украины), за которой через год последовала вторая, в своем роде безукоризненная и по технике, и по выдержанности настроения — книга крайнего солипсизма и безнадежной мистики —„На грани". Глубоким холодом веет с ее страниц,

* О Тычине на русском языке — только небольшая заметка Могилянского в журнале „Книга и революция", 1923, № 11 — 12, стр. 15 — 17. Из украинских статей о нем см. у А. Никовского, Vita nova, 1920, стр. 21 — 58; заметки Ю. Меженко в „Музагете" 1919, в сб. „Гроно" и др.

таких чужих и далеких от переживаний именно девятнадцатого года (стихи написаны, конечно, до этого года). Поэт стоит у пределов вечного „Ничто", где никаких мыслей, где немеет язык, где глубокая тишина... Но хоть смертные глаза ничего не видят за этой завесой, душа знает, что некая сокровенная жизнь там течет, что живут там вольные и гордые духи, каким и сам поэт был перед веками. Но где могучие руки, которые могли бы сорвать завесу? Их нет: безуспешна борьба вечного и смертного в душе поэта — и из борьбы этой он выносит чувство глубокого равнодушия к человеческим делам и помышлениям, даже к поэтическому творчеству („замолкнут, пожелтеют, завянут созданья человеческих рук"). И оно хрустальными струйками потечет в черное море Нирваны. Книга — сплошной Requiem, отходная, прочитанная поэтом самому себе. Это — Федор Сологуб (до известной степени), но утонченный, почти бесплотный, ушедший на острые обледенелые вершины и застывающий там в буддийском созерцании дальнего мира. Но поэт нашел в себе силы ожить, вернуться от миражей потустороннего к действительности, к людям — у которых столько немых песен, ждущих глашатая: он стал в ряды певцов революции. Его позднейшие стихи еще не собраны в отдельную книжку, но читая, например, его недавнюю вещь „Гимн-прокламация"—в журнале „Червоный Шлях" („Красный Путь"), 1923, № 3,—трудно поверить, что ее писало перо, когда-то вычерчивавшее ледяные узоры стихов из цикла „На грани".

Такою же болезнью переходного возраста явился символизм и в творчестве *Я. Савченко* (род. в 1890 г.; сб. „Стихотворения“— 1919) и *Алексея Слисаренко* (род. в 1891 г.; сб. „На Кастальском берегу“— 1919), о котором мы упоминали выше, как о футуристе. Эта болезнь никому не принесла светлых снов и радостных видений. У А. Слисаренко еще не так бросается в глаза этот мрачный пессимизм: ученик Бальмонта, А. Белого и... Сергея Городецкого, в своей первой, очень неровной книге, где наряду с вещами, исполненными поэтической силы (напр. „Засуха“, „На пасеке“, „Поют у паперти церковной слепцы“ и др.) — вдруг прорываются строки, беспомощные и безвкусные (напр. „Тогда я бурями энергий — разрушил храма белый сон — и стал не тихий инок Сергий — а яснозоркий Аполлон“ и т. под.) — все же знает переходы от одних красок к другим, не чуждается внешнего мира. Напротив, Я. Савченко, несколько опередивший Слисаренко печатным выступлением — весь в себе: стихи его выдержаны в одном тоне, еще более похоронном, чем у стоявшего на грани небытия Загула. Его излюбленный цвет — черный: поэт говорит об огне и солнце, но на эти „горячие и творческие стихии упорно набрасывает черный вуаль: источники света и жизни выступают мертво, желтея на смертельно-черном фоне... Вспоминаются средневековые описания солнечного затмения, когда ревет скот, кричат куры, мечутся люди“ *. Вновь приходит на мысль

* Никовский, цит. книга, стр. 134 — 135.

Сологуб (особенно „Из ночи в ночь“ — вплоть до размера стихотворения), но Сологуб трагический, не чуждый некоторой аффектации, мятущийся, хоть и твердящий о бесстрастии и покорности. Или Верхарн, эпохи „Вечеров“, „Разгромов“ и „Черных факелов“. От Сологуба этот Огненный Змей — Солнце, губитель, а не податель жизни: поэт говорит о „солнечной отраве“, о „кладбище солнца“, где вместе с другими убитыми солнцем он живет среди нерушимой тишины и злого пылания. Солнце — смерть, солнце — палач: но палач — и жизнь, звериная земля, по которой проносятся словно четыре страшных апокалиптических всадника. Мы — в чаще страшных символов, чьи имена пишутся с больших букв, сплошь пестреющих по страницам книги. Как у Верхарна, она, может быть, вышла из большого душевного кризиса: она предвестие катастрофы, и сейчас ее символы заставляют вспомнить образы мировой бойни, завершившейся у нас революцией. Кстати сказать, у украинских поэтов мы не найдем ни одного славословия войне: российские украинцы, разумеется, не могли в свое время высказать своего отношения к ней — но пессимизм украинских символистов становится нам понятным, если мы вспомним, на фоне каких событий писались стихи и Загула, и Савченко. Эти книги — предчувствие, и с этой стороны они и сейчас могут представить интерес. Относительно других близких к символизму поэтов этого нельзя сказать в той же мере: у них есть отдельные интересные вещи, напр. у *Владимира Ярошенко* (род. в 1898 г.; сб. „Светотень“, „Эхо“, 1918 —

1919), кое в чем обязанного не только российским влияниям, но и манере М. Семенко — но нет еще ни одной книги, которая позволила бы говорить о лице поэта.

Более выясненными представляются поэты, обязанные символизму лишь технической выучкой — но либо преодолевшие его, либо чуждые ему с самого начала. Обыкновенно их причисляют к „неоклассикам" или „неореалистам". Из них наиболе выдвинулись в разное время *В. Кобылянский* (1895 — 1919; сб. „Мой дар", 1920), *Я. Мамонтов* (р. в 1880; сб. „Венки по воде", 1924) *Павел Филиппович* (р. в 1891; сб. „Земля и ветер", 1922) и *Максим Рыльский* (р. в 1894; сб. „На белых островах", 1911; „Под осенними звездами", 1919; „Синяя даль", 1922). Украинского мало в этих поэтах, из которых двое последних являются выдающимися мастерами стиха, особенно Рыльский. Российский читатель найдет у них знакомые темы и образы, даже знакомый строй речи, и остановится только перед чуждой фонетикой и непонятными без словаря отдельными словами. За всем тем он отыщет здесь то Блока (цикл „Беатриче и гетера" во втором сборнике Рыльского), то Иннокентия Анненского (там же стих. „Музыка", посвященное памяти Анненского), то Гумилева или Ахматову (стих. Филипповича „Пусть на небе совсем побледнелый месяц"... в сб. „Земля и ветер", стр. 41) и др. Те же формы, те же настроения. У М. Рыльского они отличаются наибольшей устойчивостью. Начинавший свой творческий путь с созерцания белых островов-облаков, плывущих по синему морю — небу, славивший в сб. „Под

осенними зорями" радость бытия — он эту радость видит в ненарушимости душевного покоя, в созерцании и мечте. Он и в наши дни грезит о том, что где-то, вдали от убогих хат, от одурманенных самогоном и валяющихся в грязи людей есть Париж, город гения с душой гамена, Париж голубей, мансард и поэтов, или остров, где Диккенс усмехался сквозь туман, или мрамор венецианских колонн и лестниц. Может быть, только ему принадлежит по праву наименование эстета, без достаточных оснований присвоенное некогда Вороным или Чупрынкой. Он — один из немногих, отрекающихся от современности, не желающих знать „шумных путей жизни" и „актерских" жестов и выкриков ее деятелей. Он хотел бы в тишине, над удочками, донести до конца свою жизнь „непроданной". Конечно, большой вопрос, действительно ли свобода духа заключается в уходе от жизни в грезу, от борьбы в созерцание — и не есть ли это скорее робость или слабость духа. Рыльский напоминает отчасти Филянского, но его созерцательность чужда религиозной настроенности старшего поэта. Во всяком случае, в Рыльском нельзя отрицать мастера формы. Многие из его сонетов, октав, терцин, рондо являются единственными в своем роде образчиками на украинском языке. Он — „глубоко-культурный поэт, поэт-книжник с наклонностями философа". * Если не философии — то технике у него следует поучиться многим.

* В. С. в журнале „Червоний Шлях" (Красный путь), 1923, № 3, стр. 294.

Переход от М. Рыльского и ему подобных—ко второй группе современных поэтов, родившихся, так сказать, в буре и пламени революционных лет — может быть, слишком резок: но его незачем сглаживать, раз именно таким сделан он самой жизнью. Эго она выбросила на первый план, еще не покинутый созерцателями, дерзких и сильных бойцов и строителей, отыскавших для своих песен новые, еще не тронутые украинской музой струны. Новые социальные группы — революционный пролетариат и крестьянство, заговорили их устами. Новая идеология выдвинула новые темы, новые формы, разрушила старый стих: мало того, самый язык она заставила зазвучать по иному.

И в самом деле: все мы слышали о красоте и звучности украинской речи. Многие из нас, даже не понимая смысла слов, восхищались ее музыкой, слушая где-нибудь в Правобережьи разговоры крестьян или уже исчезающую, но все еще живую старинную народную песню. Но этому языку, сделавшемуся матерьялом для искусства новейших поэтов, явно не хватало энергии и силы. Что-то сентиментально-бессильное, что-то женственное размягчило язык этом столь богатый мягкими согласными, звуком *и*, господствующим над прочими гласными и т. под. А тут еще изобилие слов в роде „тремтіння“ (трепет), „кохання“ (любовь), „мрія“ (мечта) и т. д. Этим ли языком передать крик и вопль воина, сокрушающего твердыню старого мира?

Революционная поэзия вернула начинавшей изнеживаться речи стальную твердость и силу удара. Она показала, что и в украинской поэзии возможны не только

минорные, но и мажорно-героические ноты. Их находил когда-то Шевченко, но их часто не хватало Олесю. Не только рыданья бандуры, но и рокоты грозных труб, возвещающих конец старого мира и суд над ним может слышать украинский читатель от своих поэтов.

Вместе с этим преображением языка изменился и стих, решительно повернув к вольному метру, к „vers libre'y", который сейчас (иногда даже слишком своевольно) водворился в украинской лирике. Этого потребовали новые темы, круг которых расширился до пределов вселенной. Как и российская, украинская революционная поэзия была захвачена романтикой революции — романтикой нового типа, чуждой идеализма и мистики, но исполненной бури и натиска. Казалось, что красная звезда революции светит не только восточной Европе, но всему миру. От Украины мысль перебрасывалась к советской Венгрии, к Баварии, к Ирландии, к смутно шевелящемуся Востоку. Никакая утопия не казалась несбыточной: прыжок из царства необходимости в царство свободы, думалось, уже сделан — и кругозор, головокружительно разбегаясь, расширялся до мировых граней. Мечталось не о новом стиле, не о новом стихе, а о каком-то новом языке грядущей Интер-республики, уже готовящей поход для завоевания территорий, лежащих за пределами земного шара. В параллель к поэмам Маяковского, Филипченко, Гастева — появились поэмы Эллана („Електра", радио-поэма), названная выше „Кабле-поэма" Семенко, стихи Тычины, Хвильового („В электрический век"), В. Полищука („Бунтарь"), В. Сосюры и др.

Но за днями борьбы пришли дни закрепления завоеваний и строительства новой жизни. Эти дни у многих пролетарских поэтов России вызвали горькое чувство разочарования*. Украинским поэтам также пришлось спуститься с эфирных высот на землю, но лишь немногие из них приняли этот переход с уныло-опущенными руками. Революция духа продолжается, и ей служат поэты в момент передышки перед новой борьбой. На смену романтике придет, а отчасти уже и пришел новый реализм, обогащенный результатами исканий и дерзаний революционной поры. Так древние ораторы совершенствовались, произнося речи на берегу моря: учась заглушать шум прибоя, они развивали и усиливали свой голос.

Во главе этих поэтов — поэтов сегодняшнего дня — попрежнему остается Тычина, еще недавно напечатавший такие, не уступающие его прежним вещам, стихотворения, как „Ветер с Украины“ („Красный путь“, 1923, № 3) или „Приехали к матери три сына“ (там же, № 2). Но вслед за ним идут и те, новые, которых собственно мы отнесли ко второй группе. Их много: мы назовем только имена, с которыми уже связано у украинского читателя достаточно отчетливое представление.

Из них только *В. Чумак* (1900 — 1919), автор „Красного Запева“ и других революционных стихов, рядом с которыми не хотелось бы забывать его тонкой и нежной лирики интимных переживаний, безвременно сошел в мо-

* Ср. ст. В. Плетнева „Пути пролетарской поэзии“, в „Горне“ 1923, № 8, стр. 160 — 163.

гилу, расстрелянный в 1919 году белыми. Остальные живут и творят — и еще далеко не досказали своего последнего слова. Вместе с Чумаком, активными деятелями пролетарской революции являются поэты-коммунисты *В. Эллан* (автор сборничка „Удары молота и сердца“ и стихотворений, рассеянных по журналам) и *И. Кулик* (второй сборник стихов „Зеленое Сердце“ 1923 г.). Характерными чертами поэзии первого — является сжатость, „ударность“ его стиля, выдержанность его пролетарско-революционной идеологии. Второй — показавший еще своим циклом „Мои коломыйки“, как близко умеет он подходить к духу и стилю народной лирики, интересен, как цельная личность, для которой —„нет никаких границ между коммунизмом, настроениями, любовью, трудом“. Его книжка „Зеленое сердце“ в сущности просто стихотворный дневник 1919 — 1922 г.г., но автор дневника сделал свои личные переживания общеинтересными, так как они вместе с тем и переживания целой группы, от которой он неотделим.

Особое место отведем мы поэтам, которые, может быть, не являясь активными политическими работниками революции, вместе с первыми творят революцию духа, выясняя новое мироощущение и ища новых форм для его выражения. Это представители той украинской интеллигенции, которая выработала „в мозольном процессе жизни новую психологическую доминанту“ и „щиродушно и щиросердно“ подошла к пролетариату *. Люди различного со-

* В. Коряк—в сборнике „Октябрь“ (см. выше).

циального происхождения, они именуют себя пролетарскими поэтами и имеют на это право. Среди них наибольшей плодовитостью отличается *В. Полищук* (сборники лирических стихов —„Книга восстаний", 1922; „Радио во ржи", 1923). Постепенно освобождаясь от захватившего его влияния Уитмена и перестав пересказывать знаменитого американского поэта, Полищук дает в своем творчестве радостное оправдание жизни во всей ее полноте, со всеми стихийными порывами плоти и духа, со всеми ее подчас резкими и отталкивающими контрастами. Он славословит солнечную мощь, здоровую плоть, неиссякаемую силу природы: иногда ему не хватает сжатости, ему вредит порой резонерство и слишком свободное (особенно в поэмах) отношение к стиху, теряющему порой какую бы то ни было ритмическую упорядоченность. Напротив, другой поэт, *М. Исаксен* („Взысь", 1921; „Шафранный Круг", 1923), долго и упорно работает над стихом, интересующим его и теоретически; искусно вводит в обращение слова, несправедливо заброшенные или неиспользованные поэтами, и умеет находить проникновенное и трогательное выражение, как для общих („Коммуна"), так и для личных („Сонатина") чувств. К этой же категории мы отнесем и *В. Алешко* („Громодар", 1920), нашедшего, отчасти под влиянием Петникова и других российских художников „самовитого слова", новое для украинской лирики выражение радостному упоению природой и работой у земли, и отчасти *Т. Осьмачку* („Круча", 1922), удачно перерабатывающего поэтические формы народного твор-

чества (дум) для высказывания чувств и мыслей, волнующих современного человека*.

Не забудем, что революционная поэзия Украины в сущности лишь недавно получила возможность высказываться и развиваться без помех. Организовать как-либо поэтические силы страны не было ни времени, ни сил в водовороте событий. Возникший в 1919 году в Киеве журнал „Искусство" с приходом белых прекратил свое существование. Только в 1921 году в Харькове появляется новый, издававшийся с большими перерывами журнал „Пути искусства" („Шляхи мистецтва", №№ 1 — 5, 1921 — 1923), на страницах которого увидели свет стихи *В. Хвыльового, В. Сосюры, О. Коржа, А. Панова, И. Сенченко* и других поэтов, взявшихся за перо непосредственно после кирки шахтера или плуга землепашца. Пролеткульты на Украине пользовались по преимуществу русским языком, были провинциальными отделениями Московского Пролеткульта и для развития украинской пролетарской поэзии сделали немного. Впрочем, харьковский Пролеткульт выдвинул В. Сосюру — и этого достаточно. Автор „Красной Зимы", „1917-го года" и других лироэпических поэм и стихотворений, несомненно один из самых сильных и искренних поэтов революционной поры не только на Украине, но и во всем союзе советских республик. В смелых и ярких образах, чуждых всякой наду-

* За последнее время выдвинулся, особенно своим сборником „Litterae" (1923), еще один — М. Доленго, напоминающий кое в чем И. Кулика, но в целом самостоятельный и обещающий.

манности, в образах, которым позавидовали бы имажинисты, он рассказывает творимую легенду собственной жизни — жизни одного из тех, чье имя легион: шахтера из Донбаса, вместе с Красной Армией обошедшего много фронтов в годы борьбы. Сосюра и Хвильовый — нашедший полное выражение своему значительному дарованию в художественной прозе — представители той индустриальной пролетарской поэзии, которая, нужно сознаться, до последнего времени на Украине шла вразброд, ощупью, создавая, однако, по пути вещи большого значения и отличаясь от российской революционностью не только идеологии, но и формы, резко порвавшей с традициями предшественников. Не забывая об исключениях, можно сказать, что среди российских писателей, называемых пролетарскими, наберется не мало поэтов — пролетарских только происхождением. Украинские пролетарские поэты носят это звание с полным правом, не только в силу рождения, но в силу всего своего существа. Их не много: о них не написано, как о более счастливых их российских товарищах — ни значительных критических статей, ни отдельных книг; лишь недавно возникла организация „Гарт", поставившая себе целью об'единение уже пишущих и вовлечение в активное творчество могущих писать (параллельно с подобной же, ранее возникшей организацией крестьянских писателей „Плуг"). Несомненно, что вскоре мы услышим новые имена, полнее будем представлять себе и тех которые, работая, мало имели возможности сообщать другим о результатах своей работы.

Таков сложный путь, пройденный новейшей украинской лирикой. С нею следует знакомиться не только тому, кого интересует рост и выражение революционных идей в современности, но и всякому, кому дорого художественное слово. Переводы лирических стихотворений украинских поэтов на русский язык появляются и будут еще появляться: но перевод поэтического произведения всегда либо посредственная в смысле мастерства копия с хорошего оригинала, либо мастерская картина, навеянная впечатлением от чужого создания. Переводы украинских лириков для русских читателей могут сыграть роль толчка для изучения одного из ближайших и прекраснейших языков славянской семьи и для чтения этих поэтов в оригинале. Пора, в самом деле, двум братьям и верным товарищам не только итти нога в ногу, но и в совершенстве знать и понимать друг друга.

А. Белецкий.

Декабрь 1923 г.





АНТОЛОГИЯ
УКРАИНСКОЙ ПОЭЗИИ

ВАСЫЛЬ АЛЕШКО (р. 1887)

К жизни ключам — скорей с ковшом!
Напитков мне — на целый век:
Горьких и сладких, крепких, с огнем, —
Чтоб вечно сердце жар жег.

Пить и пить из трещин земли
Полный ковш пива, хмельных медов,
Ковш — сочных лилий,
Ковш звуков лесов.

Диких оврагов, дубов вековых,
Не боялся с юным конем, —
Упал к подножью фиалок лесных
Возле жизни ключей — с золотым ковшом.

(С. Шилиленко).

ЧЕРНОРОБ.

Не накормят хлебом святые,
Не дождешься добра от людей.
Уж Николай и преподобный Савватий
За молитвы не продают дождей.
У Ильи порвались хомута,
Иль застрял в рытвине воз —
Не слыхать, чтоб он грохотал,
Когда поп го́спода просит.
Будет вам, попы, нивы топтать,
Возносить молитвы богам —
Солнце нацепило на небе плакат:
«Все добро — рабочим рукам!»
Гневается лодырь безмозглый
(Его не поддержали святые!) —
На ниве без зерна колос,—
Придется с сумой пойти.
А рабочая рука — с серпом.
Ей всегда земля даст.
Прядиво — красное полотно —
У нас.

(С. Пилипенко).

ХРЫСТЯ АЛЧЕВСЬКА (р. 1882)

Мне все равно, какие мне
растравят сердце боль и муки —
на все найду я в лире звуки
и песню всем отдам мою...

Мне все равно, какое мне
грозит за пение распятье:
не брошу, братья, петь; опять я
вам песню всем отдам мою...

Но ведь и я — певец народа —
меня страшитесь погубить:
людского мщенья не избыть,
когда вы песнь мою убьете.

(И. У.)

Ты знал меня, когда была я девочкой.
Такою я осталась и теперь.
Лишь из души моей в страну печально-тихую
Открылась дверь.
Тогда от жизни я хотела только сказки.
Мечта шептала мне: «Поверь в меня!
Я от людей ждала — хотела ласки. [Поверь!»
Такою я осталась и теперь.
Лишь...

(Иван Рукавишников).

НАД ДНЕПРОМ.

I.

Я помню влюбленную ночь на Днепре,
Уснувшие тихие дали.
Горели алмазы в небесном шатре
И девичьи очи мерцали...
Влюбленная теплая ночь на Днепре.

И сердце в святую дремоту ушло,
И страхи его не пугали.
И ласка очей, и беседы тепло
Баюкали сердце, ласкали...
И сердце в святую дремоту ушло.

Что стало? Мгновенье, как пляска гробов.
И сердце — ужасная сила —
В об'ятья схватила, взнесла до гробов
И долго безумно кружила...
О ужас! Мгновенье, как пляска гробов.

Я помню влюбленную ночь на Днепре,
Уснувшие тихие дали.
Горели алмазы в небесном шатре
И девичьи очи мерцали...
Влюбленная теплая ночь на Днепре.

II.

Я в могилу живую ее закопал
Без обряда святых похорон.
Я молитвы не пел, псалтыря не читал.
Ниоткуда не слышался звон.

Только ветер ревел. Только филин кричал.
Так уныло ревел. Так пугливо кричал.
Я же ужас впитал — и молчал.

Ночь бездна была. Ночь из бездны плыла.
Желтый месяц был лик мертвеца.
Лик из тучи глядел... Та минута была
Дико мстящей минутой конца.

Волк в лесу пробежал. Волк в лесу прокричал,
Панихидное слово в лесу прокричал.
Я же ужас впитал... И молчал.

Вечность, вечность прошла. И рукою своей
Вырвал сердце я, сердце мое.
Бросил сердце я к той, бросил сердце я к ней,
На немую могилу ее.

— Что ты сделал? — спросил я себя. И молчал.
— Ты того ли хотел? — спросил — и молчал.
Только филин невнятный ответ прокричал.
Только филин в лесу прокричал.

На развалинах счастья я, каменный, встал,
А любовь хохотала всесильная.
Не кричал, не рыдал и волос я не рвал.
Я стоял, как статуя могильная.

Я в могилу живую ее закопал
Без обряда святых похорон.
Я молитвы не пел, псалтыря не читал.
Ниоткуда не слышался звон.

(И. Рукавишников).

ИЗ ПОЭМЫ «ЭЙНШТЕЙН».

На планете,
что бешеным бегом
мчалась своею орбитой —
во мраке веков и молчаньи просторов:
сидел Человек.
Зубами вгрызся в тайну Космоса.
Руками — молотами мысли —
дробил его мощную стену.
В мозгу его кровь —
стремительней бега планеты,
творила линии, эллипсы, круги
Мироздания гордиев узел
детским бубликом стал.
Смех гения!
Космос — наивная ложь
мысли бескрылой.

... Стекляный шар с отравой вечной тайны — трагедии,
разбился на тысячу осколков —
и тайны не стало.

И не было ее никогда.
Забава наивная — бублик далекого детства.
Нет уже тайны.
Бессилие в прошлом —
при встрече с Космосом.
Бесконечность!
Твоя тайна открыта.
Вечная ложь!
Я — материя и движение,
Я — Космос
и бесконечность,
что стремится к нулю.
Я ухватил бескрайности солнца
и полюсы их бросил в темницу —
там, где хочу.
Вы мне покорны!
Я кочую с вами по степям материи —
там вечный радостный бег.
Бабочки, травы, птицы и звери...
Смех мой и слезы:
это вы — степи материи...
Нет для меня уже тайны!

(*А. Сушкевич*).

ПАВЛО ГРАБОВСЬКЫЙ (1864—1902)

СОН.

Поля пахучие и рощи
В тюрьме сырой приснились мне.
Степь широка — чуть слышно ропщет
и тонет в грустной тишине.

Наш садик рдеет под плодами,
ликует летняя пора.
А в доме... матери рыданье,
тоскует скорбная сестра.

Лицо поблекло, гаспут очи,
надежды нету, стан сутул —
заплакал я во мраке ночи
и до рассвета не уснул.

(С. Пилипенко).

ЕВГЕН ГРЫГОРУК (1898—1922)

ЗАМНАРКОМ.

Декрет, другой, потом и нота,
и переписки целый том...
Ключем кипит его работа,
на двери четко «Замнарком».

Так близоруко-тихи взгляды;
пиджак измызганный блестит...
О, на минуту в лес, в поля бы,
собою хоть на миг побыть!

И между дней подслеповатых
(ведь душу надобно отвесть!)
одно спасенье—шахматы
и край Чурляниса чудес...

Иной раз—косы, завитушки
и поцелуев пресный жар,
где стережет железный Пушкин
сухой асфальтовый бульвар.

(С. Ишлипенко).

БОРЫС ГРИНЧЕНКО (1863—1910)

УНЫЛЫЕ КАРТИНЫ.

Убогие нивы, убогие села,
убогий, забытый народ,
унылы картины полей невеселых —
иных тут никто не найдет.
Не стал и глядеть бы... забыть непробудно...
Но силы забыть где же взять?
Родимые села, родимые люди,
родная Украйна моя!..

(С. Пилипенко).

ИЗ «ПОЭМЫ О ПЛУГЕ».

Топтал поля буланый конь,
снаряд порожний после боя,
где пахарь землю рыл сохой
и страх долбил, как бочку бондарь.

Скрипучи оси колымаг.
Костлявый пес плетется следом.
Сухая кляча ржет в степях
на жадный завтрак людоедов.

Меж выжженных и рыжих злаков
земли глотает зерна щель.
И смерть из алчных вурдалаков
прядет кудлатую кудель.

(*А. Сушкевич*).

ДОНБАС.

Уж полночь, а выси багряны, —
Наверное плавят чугун.
Как в кожаных куртках отряды,
Видения строем бегут.

Не улицы — просто линии,
По счету. И в шлаке поля.
Но миру доносят по радио
Про сердце твое из угля.

Красная риторика праздника,—
И момент, и очередная любовь.

А в искрах полночной радости,
За оградой воспетых шахт,
Уснули села в бурьянах по брови;
И в прудах беломесячный страх.

(А. Гатов).

ИЗ ПОЭМЫ «ЗЕЛЕНОЕ БОЛОТО».

Кто-то склонился так близко, близко,
кто-то нежно ко мне привык.
...Теряет огненные брызги
в тиши вечерней паровик.
Звонко, четко сонный тротуар
на счеты бросает мой шаг.
Над пахотью белеет пар,
в садах в селе вишневый сок,
а тротуар на счетах: цок, цок, цок...
Над домами, над заводскими трубами,
месяц — медный крючок.
(Трудно, трудно мне:
как я тут одинок).
И снуют, снуют в окно
какие-то сети туманные,
это было давно, давно,
а воспоминанье ранит.
Кто-то склонился близко, близко,
кто-то нежно ко мне привык.
— Во мраке червонные брызги
сыплет, сыплет, затихая, паровик.

(А. Сушкевич).

ДАЛЕКИЙ ПРИНЦ.

Далекий принц девичьих дней
Не залетал в мои зеркала.
Всю жизнь свою в душе моей
Несла я чару — и путей
Еще неведомых искала.

Несла я чару за межу —
И самоцветы в ней разлиты.
Теперь на гранях сторожу,
Красе надзвездной я служу,
И в сердце радость неофита.

Красе надзвездной бью челом!
Чарует музыка природы...
И в тихий вечер над селом
Поет торжественный псалом
Благоговейный Квазимодо.

(С. Нилинпенко).

МЫХАЙЛО ЖУК (р. 1883)

ОСЕННЯЯ ПЕСЕНКА.

Стонет ветер. Дождик частый.
Шелест, шум по крыше.
Астры шепчут: «умираем!» —
Чуть слышно, чуть слышно...
Стонет ветер. Астры плачут:
— «Ой, горе! Ой, леле!
Доля — мачеха лихая —
В болото нас стелет...»
Стонут листья, стонут травы:
— «Страдаем, страдаем!
За что, ветер, брат названный,
Смилуйся над нами!»
Стонет ветер, что есть силы:
— «Караю, караю!»
— «За что, ветер, за что милый?»
— «Не знаю, не знаю!»
Словно острою косою
Срезает, срезает...
Только туча, сизой мглою
Поникнув, рыдает.

(С. Пилипенко).

ОЛЕНА ЖУРЛЫВА (р. 1886)

Металлом дышет горна пасть
И свой с огнем глотает гнев,
Огонь — бушующий — как страсть,
И чугуна багров напев.

Валами вдаль бегут станки
(Ужель станки теряют путь?)
Одним движением руки
Кто властен шкивы повернуть?

Глухой протяжный гул машин:
«Мы — ритм толпы, мы — бой сердец.
У нас властитель лишь один —
Борьбы и подвига творец».

Металлом дышет горна пасть,
Колеса в ритм и бег ремней.
Чья может быть сильнее власть?
Кто стал над ней?

(Г. П.)

ДМЫТРО ЗАГУЛ (р. 1890)

ГДЕ-ТО В ВЫСЯХ.

Где-то в высях над землею носят судьбы наше
счастье,
Но никак нам не удастся очутиться там.
Породнились мы с землею, разрослись мы в ней
корнями,
Вниз катимся, точно камни. Не подняться нам.

Там, за тридевятым морем, тридевятою горою,
Под заклятою скалою спит крылатый змей.
Если гадину поборем,— распрощаемся мы с горем,
Наше счастье метеором вспыхнет в мгле ночей.

Если б крылья нам орлины, если б очи соколины,
Злого змея исполина мы нашли бы там.
Но — напрасно: мы без силы, слепы, глухи мы
бескрылы,—
Видно, счастья до могилы не добиться нам.

(Л. Выводский).

ИЗ КНИГИ «НА ГРАНИ».

Что было прежде,— того не будет,
Оно далеко, за сто-сот миль.
Уж не взволнует бессильной груди
Былое горе, былая быль.

Что было прежде, что было ныне,—
Не умирало, оно живет.
В какой-то дальней живет пустыне,
К просторам вечным оно плывет.

Что было прежде, и то, что будет,—
Живет бессмертно в моей стране,
И не проникнут пустые люди
В страну отзвучий — сюда ко мне.

Погаснул день за синими лесами,
За синими лесами мгла легла,
Проходят тучки-розы небесами,
И тихо с небесами слилась земля.

Стоят цветы, обрызганы росою,
Обрызгана росою, дрожит трава.
Мои мечты об'яты красотою,
Об'яты красотою мои слова.

За непроглядною завесою
Живут такие же, как я,
А здесь чужою, неизвестною,
Горюет день и ночь
В тоске душа моя...

И бьюсь я с этою преградою
Уже без счета сотни лет,
Но грезой бедной, пригнетенною,
Не в силах выбиться
В потусторонний свет.

О, кто руками мощно-твердыми
Сорвет завесу с царства дня?
Кто даст мне встречу с теми гордыми,
Такими гордыми,
Каким предвечно был и я?

Раннее солнце — вот сердце мое,
Зеркальная глубь тепла.
Утром прозрачным оно встает,
И гляньте — растаяла мгла.

Вам не чужая моя душа —
В ней отблеск ваших валов...
Вас обогнала ее межа
На сотни тысяч шагов.

Убогие души я расцвечу —
Краски во мне горят.
Нищие сумы озолочу —
Возьмите мой свет, мой клад!

Сколько песен немых у вас,
Только их сон нарушь!
Буду играть я всякий час
На арфах ваших душ.

Я не встревожу спокойных грез
Своей потаенной тоской.
От вашей боли я полон слез,
Нет радости мне чужой.

Разве не солнце — сердце мое?
Не прозрачна-ль души глубина?
В эфире замки свои создает
Над царством терпенья она.

(Р. Победимский).

ПРИЗЫВ.

Товарищ мой, крестьянин!
Мысли твоей и сердцу
Я — поэт Украины —
Призыв мой слагаю.
Я твой ближайший друг.
Одно нам с тобою добро,
Хоть орудье твое — коса и плуг,
А мое — тетрадь и перо.
А третий наш брат — рабочий,
Что сызмальства молотом бьет,
Своими руками сталь точит,
И плуг, и перо кует!
В поте лица добываем мы хлеб.
Пристань же, прильни-же к труду,
как полип —
О, человече!
Кто не работал — погиб.
Кто не работает — слеп.
Труд же велик и вечен!

И только ста́ет снегов пелена,
Солнце осушит болота —

Выйди, товарищ,— ждет целина
И работа!
Рук не слыхать, на ногах не стоять,
Сил не жалея и пота —
Крепко руками держи рукоять —
Паши!
Сей!
Жито, ячмень и пшеницу!
Веруй с надеждой грозе,
Жди благодати с вершин,
И жди урожая сторицей...

В поте лица добывается хлеб.
Встань до восходу.
Выйди во двор.
Сменою зорь
Меряй погоду.
Смотри, как, кудрявясь, всходит
На поле твоем зерно.
И верь — плодоносно оно.
Верь, что земля наша родит
Не только селу моему,
Не только углу твоему —
И потом — никому...
Нет! Зерна полей родных —
Не только твои и мои —
Всем!

Пусть волнуется рожь у межи.
Дни и ночи
Ее сторожи
Ты у нее ведь слуга и рабочий,
Ты ведь только ее охранитель —
Но не господин!

Кто много имеет один —
Тот грабитель.
Кто хлеба голодным не даст —
Тот убийца!
Всем нам поручена трудная часть.
Бойся же около хат и межи
С общей дороги ты сбиться:
Всем нам дорога одна лежит,
Рабочий — крестьянин!
И пусть между нами не будет лжи,
Пока мы в едином стане!

Труд, любовь и знанье —
Троица вечно святая.
А наше одно мечтанье —
Всемирное Братство.
Не злая вражда,
Не разлад, не война.
Наша мечта - не та.
Наша мечта — свята,

Славой светла издавна,
Светла и славна,
Наша мечта —
— одна —
Братство
Знанья, любви и труда!
Брат наш! крестьянин!
К мысли твоей и сердцу
Я, певец Украины,
Первым взываю зовом.
Этим любовным словом
В слух твой стучусь и в очи.
Слушай, читай,
И руку свою подай
Певцам и рабочим

(Е. Ивовская).

МЫКОЛА ЗЕРОВ (р. 1890)

Покорный воле бога беспощадной,
Влюбленный в меч и звон военных [гроз,
Эгея сын как жертву им принес
Свою любовь и сердце Ариадны.

Его увлек геройства клич отрадный:
Копье и жезл, и легкий бег колес,
И под ветрилом черным он понес
Души и крови пыл на подвиг ратный.

Но до конца повитых горем дней
Не мог забыть он юности своей,
Эгейских волн и золотого Крита,
И в смертный час, как бы немой укор,
Он видел семизвездия узор
И златотканный пояс Афродиты.

(*О. Бургардт*).

КОММУНА.

Ты думаешь — это Коммуна?
Был рынок, а будет казарма?
Нет, милый, Коммуна — наш город, как море,
как горы,
И белый такой, и чирок.й.
Боишься, что будет печально в Коммуне,
В субботу не будет церковного звона?
Нет, брат мой! Под красного звона пэоны,
с работы
Вернутся домой коммунары.
И девушки сядут подсолнухи лузгать,
А люди — как поле пшеницы и песен.
Белеют им крылья небесных строений,
И лица, как сон... Иль секунды, иль птицы?
Рудокопы — поэты, матросы — лирики моря.
И ты все так же искать ее будешь глазами,
И сердце взлелеет зарею — падучую птицу.
Среди сотен и тысяч слепых — для тебя лишь
Очи в очи — ужасом сладким.

То под вечерним неба величьем
Узнает каждый, чего он страстно так хочет.
И странно, даже в каморке под самою крышей
Прочитают мой размер старинный.

(М. Доленго).

РЕВОЛЮЦИЯ.

Когда Прометей
поднялся вдруг
с четырех ног на две,
и огонь из зажженного молнией дуба
взяв в неловкие руки,
восстал против Зевса,—
то первая была на земле
после бесконечных ночей
— Революция.
Когда под ветрами в вечных снегах Кавказа
Замерзшие рабы
убили
своих центурионов
и рванулись в огне и дыме,
как дикая мгла,
в последней тоске
на Рим,—
то еще раз,
после миллионов раз,
еще раз
была
Революция.

Когда загнанный до смерти
усталый
рабочий
в голодные руки
взял
веками верный металл
и в расплату
за потухшие очи
голодных детей,
за панские ночи
опозоренных жен,
за проституток,
за тысячелетние муки,
за тысячелетние стоны
поразил
пана
в сердце,—
то в первый
после миллионов раз,
опять в первый
и в предпоследний раз
была
Революция.
Когда на земле Коммуна,
и в тихие-тихие вечера
с вершины горных лесов,
как Вселенной, как Вечности струны,

люди мчатся далеко, далеко,
за далекие грани земли,
чтобы в мировой гармонии,
как меч,
как аист,
победить и познать еще неизведанный [путь...
Когда на земле — Коммуна,
один торжественный рай,
и только смерть,
как и прежде,
будет пожирать
первых и лучших,—
последний тиран
в океане Коммуны,—
еще раз и опять
в кладбищах библиотек,
в поэмах забытых поэтов,
в какой-то старинной Ленина и Маркса
раскопают люди [науке
одно полуумершее забытое слово,
и слово то будет: — Революция.

(В. Сосюра).

Не верим мы в бога — нет.
Пусть будет бог для господ.
В три дня созиждем мы свет,
Пока руки и сердце — вперед!
Пусть рыдает и плачет звон,
Пусть молятся — нас сокрушить.
За единый, за наш Закон —
И вера, и верность, и жизнь.
Видишь — тучи — и церковь вдали?
Слышишь — птицы в руинах кричат?
Ввысь наше сердце! И руки! И гимн:
Победим мы последнюю часть.

(С. Пилипенко).

VORREI MORIR.

Тоской, как ярко-красной кровью,
Наполнен мой святой потир.
Пою последнею любовью:
Vorrei morir.

Дописан свиток. В каждой строчке
Тоска, убившая мой мир.
Пора кончать, кончать без точки...
Vorrei morir.

Мечтал: найду свою вершину,
Свой звездный мир, надземный мир,
И вот кричу, катясь в долину:
Vorrei morir.

Звездой последней ты была мне.
Погасла... Ночь, как адский пир.
Один. Во тьме. На черном камне.
Vorrei morir.

Тоской, как жгуче-красной кровью,
Наполнен мой святой потир.
Спою я мертвою любовью:
Vorrei morir!

(Иван Рукавишников).

Прижался лбом к решетке,
К холодной.
И рвется вдаль душой голодной.
.....Блестит река. Плывет он в лодке.
А вон и дом. Звенит весна.
Кто улыбается, кивает из окна?
Нет. Не она.
Соседи пишут: — «Так больна.
Скорей... А то умрет»... Прижался лбом
Сочится кровью шрам. [к решетке.
А там,
Там за окном
Солдат стучит по цепи молотком.

(Иван Рукавишников).

БІБЛІОТЕКА НАУК. ТОВ. ім. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ

В РИМЕ.

Хранили кинарисы
Покой своих аллей.
Гудели гордо кедры
И плакал соловей.
А нам так грустно было...

Вечерней полутьмою
Повился колизей.
Белели колоннады
И тихий мавзолей.
А нам так грустно было....

Звон мандолинный город,
Как водопад, бросал.
Клонились тихо пальмы
И мирт шептал, шептал...
А нам так грустно было...

На желтых волнах Тибра
Веселый кто-то пел.
Горели солнцем крыши
И Петр во мгле синел.
А нам так грустно было...

Безумствовали люди...
Нам город тесен был.
И кто-то наши груди
Камнями раздавил.
Мы знали, что...
...Молчали.

(Иван Рукавишников).

ИВАН КЫРЫЛЕНКО (р. 1899)

В СТЕПЯХ.

Не знал ее вовсе тогда —
Нас связала судьба случайно.
— Что-ж, едем? Да? —
Кинула твердо: Ладно!

Знал, что едем на верную смерть
(Село было полно бандитов).
Намедни, только лишь смеркло,
Привезли двоих наших убитых...

Но спокойно глотал приказ:
100% собрать за неделю.
Что-ж? Не в первый раз...
Со смертью встречаться умели.

А она щебетала в оргинстре,
Жала руку товарищу Нате:
— До свиданья! Увидимся! — Быстро
Ундервуд торопился с мандатом.

И на утро в далеком просторе,
В даль, за город — попробуй, оглянь-ка! —
Закружилась соломинкой в море
В кожаной куртке смуглянка.

И хотелось,— ах, как хотелось,—
Навсегда быть вместе с тобою.
Взор девичий ясный и смелый,—
Пусть встретится горе лихое!

А по селам пожары и банды,
Над полями нависла печаль...
И хотелось усильем громадным
Двери настежь, сразу — в даль.

Клубится дорогою пыль.
Тарахтит монотонно тачанка.
—Что, подруга моя, приуныла?
Иль покинутых в городе жалко?

Черные кудри тучами
Упрямо свисают на очи:
— Вспомнила братьев замученых,—
Их дело надо окончить.

Умирало на западе солнце,
По полю тревогой пахнуло.
Разом: Ни с места! стойте!
Матерщина. Револьверов дула.

Бух, бу-бух, ббух...
Мы и они — сухим треском.
Крепко ноган в руку —
Хотела умереть с честью.

И когда под вуалью синей
Город нежился тенью искристой,
На унылых степях Украины
Умирала в борьбе коммунистка...

И снова молчать будет поле,
Сомкнувши до боли уста.
Лежат на нем трупы холодные,
И ветры над ними свистят...

Черными литерами смерти
Разнесется по селам слава,
Как надо бороться и верить,
Как умирать, когда надо.

А в парткоме оргинстр украдкой
На минуту опустит голову —
И снова на служебном бланке
Твердо: «послать т. Зореву».

А в окно похоронного марша
Назойливо полезут звуки —
И четко товарищ Наташа
Ундервудом будет выстукивать.

(*С. Пилипенко*).

В. КОБЫЛЯНСЬКЫЙ (1895—1919)

Я — сокол с гор зеленых Буковины,
Я вырвался из тьмы дерев —
За мной рыдает бор и горные вершины,
Где мать моя клянет тревожный флейт напев.
Я Черемоша дух, суровый, своевольный,
Бурлив, широк.
Я в поле понесу напев свой — рокот вольный,
Как наш поток.
Я — призрак Довбуша, чья тень в ущельях горных
Скликает витязей на бой,
Я сброшу смертный прах, что засыпал покорных,
Их к жизни пробужу я песней огневой.

(С. Пилипенко).

ДЕМОНСТРАЦИЯ.

Глупое солнце вверху,
А внизу
Бетон,
Железо,
Камень.
В рабочей столице
Крик — пламя:
— На площадь!
— На площадь!
На улицу,
У-ли-цу-у!
Черные реки рабочих
Металлической пылью блестят.
Челн впереди ярко-красный —
Стяг.
Черные реки рабочих —
Сердца массового пояс.
Из меха-гиганта — Титана —
Буря ветры доносит.
Раздувался жар.

Огонь в очах.
Лица рабочих блистали пылью огнистой,
Будто окропленный росою розовый бутон.
Горючей нефтью плескал миллион:
— «О, мы покажем им!
Мы — в онучах...
Западной сволочи в цилиндрах.
За каждое слово обиды.
Власть наша сильна и могуча,—
Власть наша—металл,
Бетон,
Железо,
Сталь»!!!
Площади полные груди.
Берега уж налиты чугуном кипучим —
Рабочим
Людом.
Красное войско четким шагом
Врезалось танком —
Стало.
Барабан ударил дробью тревожной,
Барабан ударил дробью тревожной:
Смерть!
Смерть палачам!
О-сто-рож-но!
Толпы рабочих
Победно:
— «Все на площадь!»

Знамена гаркнули крик:
— «Не последний!»
Красные!
Красные!
Красные!
Кони вздымали пыль.
Все наши?
Все наши?
Все наши?
— Красные!
— Мы!

(С. Пилипенко).

ОЛЕКСАНДЕР КОПЫЛЕНКО (р. 1900)

Жизни моей мелодийная лирика,
Песня недопетых восточных
мотивов,
В лепестках лилейных лира,—
Моя лира поет, не затихнет.
В звуках бравурных марша,
Через поколенья по ступеням дней,
Нахлобучит вечер шапку
На кудри зари и красные веки.
В грядущем голубая гондола
Бьется у моей груди,
Трепещет голубка бездомная,
Льнет к лону горячей груди.
Каждый миг,—что забытый Коран,
Книга стара, как далекий звон.
На ветхих руинах я стал.
Муэдзина об'емлет сон.

(С. Пилипенко).

ИВАН КОТЛЯРЕВСЬКЫЙ (1769—1838)

ИЗ «ЭНЕИДЫ».

Эней был молодец удалый,
Парнюга—чудо не казак,
На все дела проворный малый,
Как есть наметанный бурлак.
Как только греки взяли Трою
И пышный город стал золою,
Он поскорее тягу дал.
Взял кой-каких с собой троянцев,
В огне копченых оборванцев,
И Трое пятки показал.

Он понастроил кучу лодок,
Своих троянцев рассадил,
Стеснив несчастных, как селедок,
И в море синее спустил.
Как вдруг опять напасть лихая:
Собачья дочь, Юнона злая,
Вдруг напустилась на него,
И в заключенье пожелала,
Чтоб в ад душа его попала
И духу не было его.

Парнюга был ей не по сердцу,
Да и гневил ее притом,
И наконец стал горше перцу,
Противней каши с ревенем.
Да что же сделал он такое?
А то — зачем родился в Трое;
И тем еще ей был не мил,
Что слыл за сына Афродиты
И что Парис не ей — поди ты! —
Венере яблочко всучил.

Глядит Юнона—видит с неба,
Что в лодках едет наш Эней.
«Ах, ты, пострел!» шепнула Геба,
И жутко, жутко стало ей.
Она впрягла в тележку птичку,
Собрала волосы под кичку,
Чтоб не трепалася коса,
Надела пеструю юбченку,
Взяла ковригу да солонку
И — шмыг к Эолу, как оса.

Вошла в хоромы и сказала:
«Здорово сват, гостей встречай!
Давно тебе я не видала».
И положила каравай,
Шумя распущенным подолом,
На стол пред дедушкой Эолом.

Потом присела на скамье
И молвит: «С просьбицей к тебе я,
Дружок Эол! Тряхни Энея:
Теперь он в море на ладье.

Ты знаешь, что он за ярыга:
Весь свет обнюхает, как пес,
Еще успеет забулдыга
Из разных глаз повыжать слез.
Пошли ему лихое горе:
Пусть те, кто с ним, потонут в море,
А прежде всех потонет сам.
За это ражую красотку,
Не просто бабу, а находку,
Тебе сегодня же я дам».

«Вишь с чем под'ехала ты к свату!—
Эол, осклабясь, завопил:
Все б сделал я за эту плату,
Да ветры, жалко, распустил:
Борей больной лежит с похмелья,
А Нот на свадьбе — всем веселье,
Зефир, давнишний негодяй,
К девчонкам в дружбу затесался,
А Эвр в поденщики нанялся...
Как хочешь, так и поступай!
Но успокойся: для тебя я
Нарву молодчику вихры

И, дело долго не тягая,
Ушлю его в тартарары.
Итак — прощай и убирайся!
Насчет молодки постарайся,
А на попятную — шалишь:
Надуешь — кончены все песни:
Ласкайся, нежничай — хоть тресни,
А от меня получишь шиш».

Эол, не медля ни мгновенья,
Собрал все ветры под рукой,
И вздуться подал повеленье
Он морю синему горой.
И вот оно запузырилось,
Ключем вскипело, расходилось...
Энею нашему не в мочь:
Он даже хнычет, плачет бедный,
И, весь испачканный и бледный,
Ерошит чуб свой день и ночь.

Гуляют ветры над волнами;
Пучина черная ревет.
Троянцы моются слезами;
Эней схватился за живот.
Ладьи, как щепы разметало;
Троянцы тонут — их уж мало;
Сто бед нагрянуло на них;
Эней кричит: «Да я Нептуну

Пятиалтынный в руку суну —
Пусть только ветер бы затих!»

Нептун был взяточник давнишний.
Заслышав голос, он сказал:
«Пятиалтынный мне не лишний!»
И тотчас рака оседлал;
На нем, как окунь, бурлачина
(Нептун проворный был детина)
Нырнул и вынырнул со дна
И крикнул ветренной артели:
«Чего неладно загудели?
Какого надо вам рожна!»

Вмиг ветры ушки навострили
И — драла в норочки свои:
Как лях до лясу припустили,
Как от вороны воробьи.
Тогда Нептун схватил метелку,
Все море вымел, как светелку —
И солнце глянуло на свет.
Эней почувствовав отраду,
Перекрестился пять раз к ряду
И приказал варить обед.
В красивых мисочках сосновых
Явились кушанья тотчас,
В приправах жирных и здоровых;
Рекою брага полилась:

Ее кувшинами хлестали;
Галушки, жареные в сале,
Глотали с жадностью молчком.
И водки выпили не мало;
Когда ж наелись до отвала,
Они уснули крепким сном.

Венера, не пустая шлюха,
Как увидала, что Эол
Сынка промучил голодухой
И на беднягу страх навел,
Взялась тотчас поправить дело:
Наряд свой праздничный надела —
Такой наряд, что хоть бы в пляс:
На голове чепец парчовый,
Да в галунах капотик новый —
И так к Зевесу понеслась.

Зевес в то время пил сивуху,
Соленой рыбой заедал.
Он выпил целую осьмуху
И уж вторую начинал,
Когда вошла к нему Венера,
Кривясь — ну точно с ней холера —
И стала хныкать перед ним:
«Спросить вас, тятенька, пришла я,
За что сынку напасть такая?
Как куклой все играют им.

Куда ему добраться к Риму!
Скорей в канаве свистнет рак,
Скорее хан вернется к Крыму,
Иль станет умником дурак.
Чтобы Юнона да не знала
В кого впустить свое ей жало
И как людей честных пугать!
Смирить ее потребна сила,
Чтоб там и сям не лебезила...
Один ты можешь приказать».

Юпитер допил жбан горелки,
Утер усы, погладил чуб
И молвил: «Ох вы, скороспелки!
Я в слове тверд, как старый дуб:
Эней покончит все мытарства,
Приобретет большое царство
И станет барином большим:
Оброк на целый свет наложит,
Народ свой сильно приумножит
И будет царствовать над ним.

Так вот что я сулю Энею:
К Дидоне в гости он зайдет,
Точить балясы будет с нею,
Под'едет к ней, как к мышке кот,
И влюбит бабу не на шутку.
Не плачь, молись, постись, малютка,

Все будет так, как я сказал».
Венера с тятенькой простилась;
Но прежде в пояс поклонилась,
А он ее поцеловал.

Едва Эней с своей оравой
Успел немножко отдохнуть,
Как уж собрал свой скарб дырявый
И снова едет в дальний путь.
Плывет... ему противно море:
Тошнит его... Такое горе,
Что не глядел бы и на свет!
И он сказал: «умри я в Трое,
Тогда б мне легче было втрое;
А тут ни в чем утехи нет».

(О. Лепко).

ВОЗНЫИ.

Город, село ли—имеют права;
Тоже имеет свой ум голова.
Каждым, как кубарем, прихоть вертит;
Каждого леший к поживе манит.
Волка медведь разрывает в куски,
Волк, тот козла теребит за виски,
Ну, а козел огород теребит:
Каждый с другого сорвать норовит.
Каждый, кто выше, тот низшего гнет;
Сильный бессильного давит и жмет.
Бедный—богатому вечный слуга:
Корчится, гнется пред ним, как дуга.
Кто не имеет, тот век свой скрипит;
Кто не лукавит, тот сзади сидит.
Ложка сухая ведь горло дерет,
Как тут прожить без греха и хлопот?

(Н. Гербель).

АГАТАНГЕЛ КРЫМСЬКЫЙ (р. 1871)

Скалы... Кедры... Скоро вечер.
Я в тоске стою.
Вот тропинка. Ах, придет ли
Тот, кого люблю?
В долах тени. Гор вершина
Кажется златой.
Гаснет солнце, тонет в море...
Где ты, милый мой?
Ночь сошла. Шакалы воют.
Ветер зимний зол.
Я уж очи проглядела—
Милый не пришел.

(Д. Выгодский).

Теплый гром. В цвету черешня
Пьет медвяную росу...
Поднял я увядший листик
И, задумавшись, несу.
Все свежеет... В грозной буре
Обновляется земля.
Беспробудно умираешь
Только ты, душа моя.

(Д. Выгодский).

ДУМА.

(1637).

I.

Закипела на Украйне
Страшная тревога,
Как на шляхту поднялись
Ватаги убогих.
Поднялися за аренды,
За зверские дуды *.
Все терпели—не стерпели
Убогие люди.
Разоряли гайдамаки
Откупные корчмы,
Где случится—разбивали
Рыдван подорожный.
Карать шляхта гайдамаков
За трактиры стала,
Забирала всю скотину,

* Подать за рождение детей.

Хаты,— что попало.
Разлетелись по Украйне
Бесхатные птицы —
Во дворцах затрепетали
Вельможные лица.

2.

— «Ох, Потоцкий, наш спаситель,
Двигай на Украйну
И расправься войском панским
Со всей этой дрянью!»
Распустили орлы крылья,
С орлами слетались —
То в поход на гайдамаков
Паны собирались.
Бурлит речка на порогах —
Росью прозывают —
На обрывах среди ночи
Кострища пылают.
Багрянеет в пене речка,
Подмывает скалы —
Там Потоцкого повстанцы
Молча поджидали.

3.

Ох, недолго поджидали —
Кони вдруг заржали,

Неминучее несчастье
Нашим провещали.
Как в тумане встало солнце,
Ядра завизжали,
По сынам, ах, да по многим
Матери рыдали...
Пушками разбил Потоцкий
Лагерь возле речки,
Разогнала шляхта наших,
Словно волк овечек.
Ох, мостили там на Роси
Трупами—мостами,
Засевали чисто поле
Густо головами...

4.

Травы никли от печали,
Гнулся лес от туги,—
Наши предки погибали
В тяжких панских муках.
Кого сразу потопили
В Роси тут глубокой,
А кого судом судили
В Варшаве далекой.
Кто остался в назиданье —
А таких немного —
Тот вернулся на Украйну
Безруким, безногим.

Огласили из Варшавы:
«Посмотрите, люди:
Кто на шляхту замахнется,—
Всем такое будет».

5.

Ладно! В этот раз пускай уж
Изменила доля,
Чтоб росла в боях кровавых
Крестьянская воля.
Пусть узнают на всем свете,
Как мы погибали,
Умирая, свою правду
Кровью записали.
Записали — прочитают
Без грамоты люди.
Никогда у нас с панами
Мира уж не будет.
Пока Рось зовется Росью
И Днепр в море льется,
Мужиков до тех пор сердце
С панским не сживется.

(С. Нилипенко).

И. Ю. КУЛЫК (р. 1897)

РАБОТНИЦА ШУРА.

Подписать в учрежденьи последнюю бумажку,
Позабыть совбарышню и совбура.
Мои вечера — на фабрике трикотажной,
Моя любимая — работница Шура.
Поблуждать под окнами хмурого дома,—
Скоро гудок и новая смена.
Выйдет из ворот походкой знакомою
И встретит приветливо, по-весеннему.
Трудовые нескáзанно-нежные руки
Обовьют мою шею — заботливые такие:
— Значит, едешь? Покидаешь Киев?
И кажется такой невозможной разлука.
Расспросит про новости: голод, продналог!
Потом про свое расскажет:
— Знаешь, у нас — марксистский кружок.
Я выбрана делегатом от трикотажной. —
И сладко, сладко до слез
Так любить тебя, синеокую.
И за то, что у тебя туберкулез,
И за то, что мать твоя торговка,

И за то, что ты мне в красной гвардии
Перевязывала раны после боя,
И за то, что в гетманской «варте»
Издевались и над тобою,
И за то, что в огне революции жестокой
Ты горела — сгорала отважно.
— Ах, не раз еще, Шура, одинокий
Буду грезить о фабрике трикотажной.

(А. Гатов).

БОГДАН ЛЕПКЫЙ (р. 1872)

Уснуло крепким, тихим сном
Все-все кругом.
И только ветра под окном
Уныл псалом.
Через стекла слышно там и тут
Чуть-чуть, чуть-чуть,
Как дождевые капли бьют,
Тяжки, как ртуть.
У двери слышен легкий стук:
Тук-тук, тук-тук...
Таинственный знакомый звук
Незримых рук.
Кто там? — Сквозь сон стремлюсь понять...
— Здесь я, здесь я.
Твоя подруга здесь опять,
Печаль твоя.

(М. П—о).

ПРОЕЗЖИЙ.

На землю пало отупенье.
Морозит утром. Травы мрут.
Поля напрасно снега ждут
И тучи виснут, как каменья.
Вот жесткий ветер набежит,
Туманом-облаком повеет.
В долу село лежит-чернеет
И тяжко-пьяно дремлет-спит.
Храня тепло, дома закрылись,
И спят собаки-сторожа,
В солому по-уши зарылись,
Во сне скучая и дрожа.
Тропой знакомой кто-то бродит.
То — Голод. Ежегодный гость.
В его руке мужичья кость,
И он очами дико водит.

(Иван Рукавишников).

КРЕСТ.

Иду в горах. И здесь он, крест.
О, край проклятый!
Куда ни взглянешь — бог распятый.
Распятый бог.
И всюду вера. Бездна веры.
Нигде — всесильного ума.
Скелеты виселиц без меры.
И всюду бог. Распятый бог.
Распятый бог — и тьма.
Поганя лик святой природы
Изображеньем страшной казни,
Поют ничтожные уроды
Молитвы веры и боязни.
Их милый бог — распятый бог,
Железом к дереву прижатый,
Чтоб от греха уйти не мог...
О, край проклятый!
Распятый бог...
Как в рай легка теперь дорога!
У них есть виселицы бога.
...Распятый бог...

(Иван Рукавишников).

О. ОЛЕСЬ (р. 1878)

Родное слово! Беркут пленный!
Посмешище для чужаков!
Громопевучий клик отцов,
Потомками давно забвенный!
Родное слово! Шум костра!
Хоралы зорь голубовзорых!
Степей поющий шелком шорох!
Рыканье львиное Днепра!
О, слово! Будь мечем моим!
Нет! Солнцем вспыхни в синей выси,
И, осияв мой край, взорвися
Грозой карающей над ним.

(И. Шлейман).

Воля? Воля! Брат! Товарищ!
Говори! Ужель не сон?
Что? Солдаты? Дым пожарищ?
Толпы? Тысячи знамен?
Дальше! Рухнули темницы?
Города уже встают?
Продолжай! сладчайшей птицей
Мне уста твои поют.
Марсельезу! Ночь — короче!
Бей в набат! Буди село!
Больше нет на свете ночи!
Люди! — Воля! Рассвело!

(П. Шлейман).

КОСАРИ.

Стоголосый
Гул покоса...
Косят, косят косари...
А в душе — звенящим хором
Сребструнным перебором
Звонко вторят кобзари...
Стройной ратью
В блеске, в злате,
Козаки идут на брань...
Косят косы...
Ноги босы...
На плечах — худая рвань...
Звучным тоном
Я с поклоном
Обратился к их гурьбе:
— Вот, вам ведомы невзгоды,
А вы — жаждете ль свободы?
И готовы ли к борьбе?
Стройной ратью,
В блеске, в злате,
Козаки идут на брань...

Косят косы...
Ноги босы...
На плечах—худая рвань...
Не замешкав,
Мне с насмешкой
Кто-то бросил в тот же час:
— Мы, барчук, луга все косим,—
И уж вас смиренно просим,—
Постарайтесь и за нас!
Стоголосый
Гул покоса...
Клонят плечи косари...
Клонят плечи...
Сны — далече...
И смолкают кобзари...

(И. Шлейман).

Ты на ночь не гляди:
Как бы тяжко во мгле
Не жилось на земле,—
Ждет рассвет впереди!

(П. Шлейман).

АСТРЫ.

Раз в темную полночь, в осенние дни,
Нарядные астры в саду расцвели,
И явь расцветив в жемчуга, в янтари,
Они дожидались пурпурной зари.

И в сладостной дреме мечтали они
Про нежные травы и ясные дни,
И правдой казалась им сказочность грез
О вечной весне среди вянущих роз.

Так глупые астры в осеннем саду
Весны ожидали в наивном бреду.
А утро их встретило ливнями слез,
И корчился ветер, скуля, словно пес.

Увидели астры повсюду тюрьму—
И поняли астры, что жить — ни к чему,
Поникли и свяли... и будто на зло,
В тот миг над их трупами солнце взошло!

(И. Шлейман)

Милый, глянь, краса какая!
Роща, лес, луга, луга.
Глянь: вода бежит, сверкая
И лаская берега.
— Я слепой... Тебя вот... вижу...
Слушай: трели близко где-то.
Милый! спросим соловья,
Был ли кто-нибудь на свете,
Кто любил, как ты да я?
— Я глухой... Тебя вот... слышу...

(Иван Рукавишников).

Не го́лоса громов небесных!
Не слов, а камней тяжких, злых,
Чтоб мог я гневно бросить в них,
В рабов бездушных и беспечных.
Не капли слез, а океаны!
Чтоб мог тоску я утопить,
Тяжелых дум пожар залить
И охладить на сердце раны.

(Л. Выводский).

Цветущий папоротник ищешь ты в лесах,
И вся в крови идешь, и вся идешь в слезах.
А я, придавленный тоскою,
Иду поодаль за тобою.

О, ласточка моя, с цепями между крыл,
Я знаю, ты падешь без веры и без сил,
И где-нибудь в пути унылом
Я вырою тебе могилу.

(Д. Выодский).

ИСКРА.

Она бы тлеть еще могла,
Но больше тлеть не захотела.
Всю силу сразу собрала,
Всю ночь сияла — и сгорела.
Погасла искра. Снова мгла.
Свет розоватый не струится...
И жаль сиянья и тепла,
И ночь еще темней ложится.
Но от тебя остался след...
Когда-нибудь здесь пир горою
Пойдет, и там вспомянет свет
Ночь, озаренную тобою.

(Д. Выводский).

ХОХОТ.

Средиземное море шумит...
Звонит волнами в ребра пирамид африканских,
Плещут кровавые реки
В долинах веков
В костяные, крутые берега из людей.
Слышу сплошь гул стихий
Над телами рабов —
Свист батогов!
Гонит берегом их, кислоглазых, немытых и голых...
Падают, гибнут, как мухи под зиму,
В долинах Египта, Эллады и Рима
И средних веков...
Свист батогов!
Эти хищные свисты сочетаются в песню
С дымом и ревом от наших пожаров,
Как бряцанье кадила и ладаны в церкви...
Свистят батоги.
Солнце мигает,
И брызжут кровавые капли в планетную твердь,
Звезды из них выростают,
А звезды на небе —

Как васильки в поле —
Срывают поэты
И вяжут венки
На белые чела
Милым своим.
Философы мудрые море под'емлют
В чашах гранитных на горы под солнце,
Реки сплетают в косу земли —
А правды не сыщут —
Кровь брызжет до неба и звезды цветут...
Земля, эй!
Дьявольский хохот твой слышу
В шуме мильонов планет,
В мильонах веков...
Хочется в отчаяньи плюнуть в лицо тебе, Мать,
Чтобы выжечь пятно — пустыню —
На косном хребте,
Как вечное клеймо арестанту —
И в бездне времен рассеяться дымом!

(Р. Победимский).

ИЗ ЦИКЛА «ПОЛЫНЬ».

Луной налитые сады
и запах влажный рос над лугом,
и в звуках сердца молодых
без сил опущенные руки.

И солнца с сердцем вновь игра,—
желанье снова знойно льется,
да грусть — любимая сестра —
в пустыне ночи тень от солнца.

В дожде резеда расцветает... аллеи...
От лип опьянели медово ручьи.
От солнца и лета сегодня нежнее
о ней неотвязные думы мои.

Картофель цветет золотым виноградом,
там встречи истомные в полдень
(«чтоб тень»),
там падает ночь, как махновцев отряды,
и зори бегут, торопясь в голубень.

День рыжий солнца тянет патлы,
там суета и шум овечий...
Чего-ж ко мне сегодня не пришла ты?
ведь никогда тебе я не перечил...

Полынь шумит и шепчет, голубея,
за горизонтом тучи заночуют,
и в эту ночь опять приду к тебе я,
тебя прижму и поцелую.

Только пташка чернеет над садом
и в пыли точно звезды горят,—
только нервно и вяло «не надо»,
и чуть слышный косы аромат.

Голубые на небе быстрины,—
это дни, как ажурная пыль,
там, где месяц шаблонный покинутый
заалел над болотом рябым,

Да немножко ярого солнца
и сверкающих зайчиков в кровь,
и над ней зазвенеть колокольцем,—
то во ржи, как полынь, любовь.

(В. Сосюра).

АНДРИЙ ПАНИВ (р. 1899)

На девичьи косы
Пал веселый луч.
Загорелись очи,
Зашумела глубь.
Воля цвет-девицу
Ласково целует:
— «Встань, пора, проснись!
Глянь скорей вокруг.
В будущее слышен
Воли ясный клич:
Жизнью новой дышем,
Поскорей, спешим!»
Загрустили очи:
— «Я пути не знаю.
Прясть умею пряжу,
Но соткать такую
У меня нет мочи...»
— «Эй, вперед, любуша,
Бери знанье в руки,
Вей из него нитки
Жизни нашей лучшей,—

Время ведь не ждет.
Очи пусть все видят,
Разум пусть все знает —
И рабочих руки
Из лучей науки
Долю всем сплетут».

(С. Пилипенко).



РУСАЛКИ.

Ночь. Поэт заслушался. Горы в лунном спят.
Плещет речка. Плещут росы.
Ночь расчесывает косы,
А березы шелестят.
Вон сорочки белые—песни на ветвях.
Вон качаются над яром,
Отдаются лунным чарам.
Кто там? Кто там на ветвях?
Звонкий дождь посыпался серебристых слов.
Все с деревьев повскакали.
Песней речку забросали
Семь лебяжьих голосов,
Семь девичьих голосов:
«Новая постелька,
Гробик-колыбелька.
Меня мама не качала,
Не качала, в воду опускала.
Белая сорочка.
«Гробик-бочка,
Прощай, дочка!

Гоп-ух! Гоп-ух! Ха-ха-ха!
Гоп-ух! Гоп-ух! Ха-ха-ха!»

Семь русалок белых в хоровод идут.
И поэта злые чары —
Серебристые пожары
Сонным берегом ведут.
И поэта взяли в круг. И бегут-летят.

Круг сжимают. Шепчут, реют.
Груди дышат, лица мреют.
Косы шелком шелестят.

А сорочки их сверкают, как слюдой.
Нежно тело. Густ их волос.
Серебристый льется голос
Над зеленою водой:
—«Растет зелье
Нам на веселье,
Всякое зелье.
Где проходим хороводом,
Нашим белым хороводом,
Там трилистник расцветает.
Сон-трава туда слетает.

Гоп-ух! Гоп-ух! Ха-ха-ха!
Гоп-ух! Гоп-ух! Ха-ха-ха!»

И поэт понесся в даль в пене белых снов.
Сжалось сердце. Плыли слезы.
Тихо плакали березы.
Ночь стонала в тайнах снов.

Руки кинул он вперед. Хохот над рекой.
Хохотали. Все напали.
И руками заласкали,
Будто снежною пургой.
Закричал он и упал он. С берега упал.
Плещет речка. Блещут росы.
Ночь расчесывает косы.
Гребень — месячный опал.

(Иван Рукавишников).

КРАСНЫЙ ТАНЕЦ.

Все ползет под окном нескончаемый шум.
Перед ночью боюсь я беды.
Слышу плач за окном. Кровь течет с моих дум.
Слезы страха.... Боюсь я беды.

Вот прижался к окну побелевшим лицом
Кто-то с плачущей раной в груди.
Жертва мук, красных мук, что палят нас огнем.
Зарыдал... Я вскричал: — Пропади!

И трясется окно. И рыданья, и вой.
Много мук. Много слез. Много мук.
Заглянул... Этот саван обвит с головой,
Но гремят кандалы его рук.
— Пропади! — Но пришел призрак-кровь.
И стоит.
— Пропади!... Призрак белый, как снег.
Вот под красный напев красный танец свистит.
Красный танец — таинственный бег.

Призрак призрака тащит к окну моему.
И глядят они ямами глаз.
То душа мировая в мой дом, в мою тьму
Заглянула мильонами глаз.
И закрыл я лицо, чтоб не видеть окна.
Там за призраком призрак встает.
Красный танец без сна. Шумный бег у окна.
Красный танец под ночью идет.
Зазвенело окно. Распахнулось, стуча.
Это сторож на крик прибежал.
В фонаре у него восковая свеча,
А за поясом длинный кинжал.
Заглянул. Помолчал. И пропал.

(Иван Рукавишников).

ПЕСЕНКА.

Подле леса тропочка
Краше грез;
Туда мои песенки
Ветер нес.

Радостные песенки,
Пышный май.
Лилось счастье речкою
Через край.

Но теперь уж тропочку
Снег прибил,
Улетели грезы все,—
Свет постыл.

Где же мои песенки?
Где мой рай?
Пролилися радости
Через край...

(С. Пилипенко).

ВАЛЕРИЯН ПОЛИЩУК (р. 1897)

ИЗ ПОЭМЫ «ЛЕНИН».

(Отрывок)

А Ленин мыслями далеко уж летал:
— «Мы в атомные вихри,
Точно в колодец, заглянули,
Где только в черном корридоре дно,
Как утро осенью, сереет еле-еле:
Не то оно, не то и не оно
(Быть может, показалось).
А вихри те, как в доменной печи.
Кружат, гогочут, воют, как сирены,
И содрогается вселенная
От сил тех, словно великан-завод;
Но только их не ловит слухом
И не приносит в душу мозг,
Наш огрубевший эпителий,
Коре земной подобный.
Его мы разомнем еще,
Как загрубевшую подошву,
Мы обострим его приборами из знаний

И аппаратов нервностью снабдим.
И будем мы выслушивать, как сердце,
Гуденье атомов.
И станет так:
Не мышцы тел людских
Протянут грязь мазута,
В шахтерский глаз не залетит огонь.
Пыль едкая и острая
От антрацита глыб
В мильярдах тонн
Уснет.
И вместо скрежета железа —
Машины мощных сил
От взрывов атомных спокойно замурлычат,
Разлягутся по залам, как коты.
— Покой —
Труду.
Украсят их акантом и мимозой,
Сплетенными из творческих огней,
Чтоб ночью, как и днем, им красками сиять,
Лаская взгляд.
Забудут электричество, как и ненужный уголь,
Орудье старое, — докучливую сказку,
Ленивый радий же в музей сдадут,
За то, что атомов распадом вялым
Ребенка — человечество когда-то научил,
Как водород взрывать.

И вот в симфониях не первый раз —
Весенний, обновленный свет
В машинах запоет.
Пылинки воли, с маковое семя,
Свет будет сеять матовым туманом,
И крошка цинка,
Как камфора по жилам,
Спокойное тепло повсюду разнесет,
По мягкой оболочке атмосферы...
Не испугаются, что вырвется на волю,
Как дикий зверь, освобожденный атом,
Ведь в комбинациях сверхгениальных
Овладеют им клеточки мозга людского,
Чтобы веселая земля
Опять туманностью не стала.
И горизонты для людей
Расширятся к созвездьям дальним
В просторы грустные из бездны пыли.
Тогда-то вспомнят и о нас,
Как о далекой, давней были».

(Гр. Петников).

КАПИТАН ШРЕДЕР.

Над рельефом гор,
над пеною у скал,
к которым подступает океан,
как конь, играющий копытом —
взор свой кинул вниз
капитан отважный Шредер,
как молнию.

Аэроплан в пространстве кузовом
нырял, как ласточка, высоко над водой.
Вверх правит капитан;
слышен гуд гигантского волчка —
то нервный пропеллер.

А снизу моря шум
и скалят зубы
выцветшие скалы.

Уж пол: луной залиты желтой,
а сверху неба черный антрацит.
И, точно из пещеры, из него —
холодный и упорный солнца блеск —
иголок дождь.

Уже и в респиратор нельзя дышать,
он весь покрылся инеем.
В нервах мотора масло — как кисель,
иль в венах — кровь убитого.
. . . . . .

Шредеру в глаза метнуло песком.
Томление в груди
и сладостно в суставах.
И томность
блеклым телом
овладела.
Но все ж манометр не дрогнул.
Хотя двенадцать километров
вниз —
в бездну —
до земли.
Теперь машина вольно понесла,
взяв в руки волю,
как существо разумное.

Руль покачнулся —
и —
вниз,
как ястреб —
вмиг —
прянул аппарат.

Ужель замыслил он убийство —
сбросить на лету
пилота-всадника,
как конь, когда несет?..

...Ветер вверх шумит,
на аппарат со свистом —
вниз...
Тепло, тепло внизу.

Легкий ветерок
щекочет пухом легкие,
и кровь по жилам тронулась быстрей,
чтобы опять расцвел барвинком взор.

И пробудился летчик, точно в сказке,
все вспомнил
вдруг —
и мысль пришла:
смерть
или жизнь?...
Вновь повернул рычаг —
и властно
аэроплан,
запруживая воздух,
поднялся над землей
на триста метров
спиралями

и вниз,
как по канату,
сел.
Как бьется сердце летчика!
Дрожало сердце, как рука...
Последний раз в его глазах блеснуло.

Яркие зарницы
все осветили—
и тьма могилы
разорвала нервы.

Аэроплан, как конь после езды,
стоял спокойно и покорно,
одно крыло пропеллера подняв,
другое — вниз,
как таракан — усы
или как заяц — уши, —
слушал.
А Шредер руки простирал —
обнять ветры.
И плакал, как бобер перед убоем.
Хотел он снова в небо.
И кару нес за то,
что, раз один увидев бездну неба
и бело-лунные поля земли,
на них второй раз посмотреть
никто не смеет.

Кто? кто еще посмеет?
И изо всех углов земного шара —
ответ
громовый:
«Мы!»

(А. Гатов).

ВЕСЕННИЙ ПРУД.

В саду за думой дума — пруд.
А от деревьев зелень-муть
Сочится — точится в стекло воды.
Я вижу: гусеницы лазят
На глади пруда водяной.
Ах, то не то: мерлушки с верб
Сюда нападали за грустью,
Когда те вербы отцвели
И эхо запахов за далью затерялось.
Так хорошо и так спокойно.
Задумался прозрачный пруд.

(М. Хвыльовый).

НИЩИМ ДУХОМ.

Молчите, рухлядь!
Голосом гнусавым не оскверняйте уши.
Вы недостойны, чтобы вас кто-либо слушал.
Ваши глаза обошли вокруг головы—
Эй, вы!—
Они смотрят назад.
Гад!
Лживым языком поерхнитесь —
Вот мой совет.
А нет —
Десница
Сильная современности
Задавит жезлом революции, задавит гада...
Пусть он еще своим хвостом зловонным
по наступившей ноге бьет.
Последним — слово вам мое,
А дальше — скажут громы.

(С. Пилипенко).

НАУКА.

Уж дождался я светла-праздничка:
Провожала в свет меня матушка,
Провожала в свет мать родимая
И держала ко мне речи длинные:

— «Пусть, сыночек мой, мы работаем,
Коротаем дни за заботами,
Пускай сохну я, отец горбится,—
Ты же глянь на свет, что там водится:
Ведь не все, как мы, в земле роются,
Встретишь там таких, что и моются.
Ведь не все, как мы, в дыму-копоти,—
И не знают они горя-роnота.
Как найдешь ты их, мой детинушка,
Ты склони свою низко спинушку,
Ты склони себя, как былинушку,
Простели себя скатертинушкой.
От поклонов спина не искорчится,
От пыли чело не изморщится,
От поклонов спина не искорчится —
Барин ступит — зато и присмотрится.

Барин ступит ногой на покорного,
На слугу своего, на придворного.
Будет времячко — и по лесенке
Ты пойдешь, сынок, помалесеньку.
С господами сам поравняешься,
В сребре-золоте закупаешься.
В сребре-золоте закупаешься
С отчим полем-домком распрощаешься».

И другого дождался я праздничка:
Провожал меня в свет родной батюшка.
Провожал меня в свет, путь указывал,
Говорил ко мне да приказывал:

— «Вишь, сыночек мой, как мы трудимся,
Вишь, сыночек мой, как мы мучимся.
Всяк для этого на свет родится...
Не гляди на бар, что там водится.
Ты на пчел гляди — есть рабочие,
Но и трутни есть неохочие...
Так и в свете том — смерды роются, —
Потом-кровью их баре моются.
Будь же проклят ты, мой детинушка,
Коль согнешь пред таким свою спинушку!
Коль согнешь пред таким свою спинушку,
Коль простелешься ты скатертинушкой!
И чело твое пусть изморщится,
И хребет у тебя пусть искорчится!

Убегай от них, как от гадины,
Ты не жди от них перекладины.
Ты не жди от них рабства лютого,
Не смотринах держись — не обпутали-б!
Уж как в свете ты послоняешься,—
В добре-разуме закупаешься
В добре-разуме, всякой мудрости,—
Отцу-матери помочь в трудности».

(*С. Пилипенко*).

КРАСНОЕ ВИНО.

Недвижен граб, прозрачно-желтый
В сияньи светло-золотом.
Пусть счастья, друг мой, не нашел ты,
Не надо тосковать о нем.
В прозрачном искристом бокале
Вино алеет и поет,
Деревья тихо прошептали:
«Всему черед и все пройдет!»
И то, что явью нам казалось -
Напрасный дым, пустая тень.
И то, что нам во сне являлось,
Приблизил скучный серый день.
Направь же к озеру покоя
Порывы юношеских лет.
Все, что осталось за тобою —
Лишь челнока мгновенный след.
Идут года чредой усталой.
Но надо-ль тосковать о том?
Налиты до краев бокалы
Хмельным алеющим вином.

(*А. Гатов*).

Снилось мне: будто мельником я на реке,
На запущенной мельнице старой...
К ночи стихнут колеса. Впотьмах я дремлю.
С шумом утка порой пронесется.
А на мельнице крысы скребутся, грызут.
Под колесами падают капли.
Щука кинется вдруг в камыше, и камыш
Успокоиться долго не может.
Вот телега далеко средь поля стучит—
Кто, куда и зачем ночью едет?
Вот упала звезда, золотую дугу
По широкому небу раскинув.
И летит вся земля, как телега в полях,
К непонятной, неведомой цели,—
С нею мельница, крысы, камыш и река,
И колеса, и утки, и люди...

(*А. Чельцов*).

А где-то есть певучий Лангедок,
Поля и рощи Франции веселой,
Где в солнце тонет каждый городок,
И в виноградниках зеленых — села.

И есть Марсель, где воздух чист морской,
И есть Париж, мудрец с душой гамена,
И Тараскон, где—в день счастливый свой—
Нам рассказал Додэ про Тартарена.

И остров есть, что осиял Шекспир,
Где Диккенс улыбался сквозь туманы,
Пока в Сибири длился снежный пир,
И вглубь Сахары плыли караваны.

О милый мир! О виноградный сад,
Сходящие смеющиеся пары!
Благословен да будет виноград —
Осенний плод весеннего пожара.

(*Д. Кричковский*).

В горах, среди утесов и снегов,
Откуда жизнь людская не видна нам,
На небе выступает из тумана
Сосновый сруб, убежище орлов.
Пока метель наносит свой покров,
И в черном гневе мечутся бураны,
Мы здесь играем в кости, варим плов,
И допиваем, не спеша, стаканы.
Когда-то, — так нам говорит поэт, —
В такую ночь здесь отдыхал Манфред,
Чтоб снова в бой вступить с Непобедимым.
Так мы, — лишь день проснется молодой, —
Уйдем в свой путь по пропастям и льдинам,
Чтоб в кости перекинуться с судьбой.

(*Л. Крачковский*).

Розы покрыли, как снег, наше брачное ложе.

Киприда

С цокола радостный наш благословляет союз,
Мы принесем ей дары: золотистые, сладкие

смоквы,

Спелый, сквозной виноград и молодых голубей.
Солнце утонет в волнах. Лепестки ароматнее

станут.

Руки касаются рук, уст ожидают уста.
Дай же, богиня, нам быть совершенными

в нежности нашей,

В благословенную ночь мудрого сына зачать.

(*Д. Крачковский*).

В полдневный час, в день сбора винограда
Ее он встретил. Торопя мула,
Она обратно ехала из сада,
Свежа, как сад, как счастье — весела.

И он спросил: Какая бы награда
Тебя проворожить ко мне могла?
Она ж в ответ: Свети с утра лампаду
Киприде доброй. — Хлыст свой подняла,

Ударила мула с веселым криком,
И тот, смешно прижавши уши, мигом
Умчал ее. Лишь вьется пыль, как дым.

А он стоял, — лишь сердце билось, радо, —
И молвил: Хорошо быть молодым
В полдневный час, в день сбора винограда.

(*Л. Крачковский*).

ПАВЛО САВЧЕНКО (р. 1887)

В чару белого вина
До краев налили.
Выпили до дна
И — разбили.
Плещет чара с соком черным.
Черный сок еще пьяней.
Отстранять не смей —
Будь покорным!

(*М. Доленго*).

МЕССИЯ.

Еще раз нам Мессию встретить!
Над вихрем огненным звезда.
Со всех земель снега и ветер
На злые города.
В снегах предтеча, вестник грозный,
Прошел над нами,— спали мы,
И грянул час железа, крови,
Безумья и чумы.
Мы — очи в бельмах, в струпьях груди —
Толпа калек, голодных псов.
Кому-то солнцем льется чудо,
А мы кровавим зов.
И слышим: если гроб вам страшен,
Завойте скрежетом глухим...
Вверх тысячами черных башен
Идет огонь и дым.
Но слов проклятия ни разу
Разодранный не бросит рот.
Мы только тащимся по грязи
Ползком на эшафот.

И лишь вымаливаем солнца
Устами вялыми не раз.
На эшафоте брызнет солнце
Виденьями для нас.
И брызнет кровью на Мессию,
А мы навстречу крик: «Вовек
Проклятие тебе, Мессия,
Над трупами калек!»

(*М. Доленко*).

НЕ ДАНО.

Он примчится в ночи на безумном коне
И в окно он тяжелым мечом постучит.
...Только сказку доскажешь последнюю мне—
И заплачешь навзрыд...

Все понятно тебе. Побледнела чуть-чуть.
Знаешь, кто прискакал в темноте, почему?..
Только свечи зажжешь и осветишь нам путь,
И уйдем мы во тьму.

И навек. Навсегда. Только миф обо мне
Схоронить, как меня, и ему не дано!
Будешь так вспоминать: прилетал на коне —
Постучался в окно.

(*А. Гатов*).

Непоборно безумны легенды веков.
Они были. И есть. И засветятся вновь.
Мы пришли из ночей на банкет Костяков,
Здесь отраву мы пьем. И отраву, и кровь.

И есть Мир голубой. Только Мир тот не наш!
Мы не здешние здесь. Потеряли мы Дом.
Кто-то на землю вылил нам Счастье из чаш,
И хохочет оно на мосту золотом.

Ждет суровость и жуть. Наши дни без окрас.
Мы пришли искупать столько страшных грехов.
И никто, ах, никто не заплачет о нас.
Слышен глухо лишь стук от костей Костяков.

Мы не верим. Не ждем. Наш банкет без конца.
Веселимся и пьем. Забываем свой Дом.
Мы распяли внизу беспощадно сердца.
Он хохочет вверху на мосту золотом.

(*М. Доленго*).

ВОЛОДЫМЫР САМИЙЛЕНКО (р. 1864)

ЭЛЕГИЯ.

Дремлет на площади пьяница, в луже валяясь вонючей.
Что ему люди и свет? Мягкой периною—грязь.
Мирно блаженствует, нежится, глухо мурлычет с усмешкой.
Грезится, видно, ему сладостно-призрачный сон.
Разве не так и поэты, пьяные собственным счастьем,
В жизненной лежа грязи — радостно песни поют?

(С. Пилипенко).

«ПОЭМА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».

(Отрывок)

1920 г.

Я не боюсь
«Я» —
Ибо я — это все,
Все грядущие
И мои нынешние товарищи.
Не я —
Что умирает,
Бежит от горенья,
Боится
Ночей бессонных,
Дрожит за свою меленькую репутацию,
Визжит.
Бережет свой оплеванный палисадник,
Огороженный редким забором.
Все те опоздавшие ожидайки
С огнем жабы

В росных лопухах современности, —
Все те — не я,
Кому я
Сбиваю с головы шапку,
Обессиливаю,
Принуждаю
Захлебнуться в собственной водичке,
Тяну за волосы к самой земле
При свидетелях.
Я —
Это все,
Что переступили порог,
Не я —
Что сгорели в огне безсилья
За свое личное и погибли
Для нас,
Для грядущего.
Поэты,
Не забывайте Семенка!
Лишь один путь в грядущее.
Вы не получили от матери билета
Для входа театр
На завтра —
Дни,
Бегите, тяните поэтов!
Ночь,
Ты гудишь для меня
Миллионами звуков в стенах!

Все поэты спят!
Спите спокойно,
Поэты,
Под одеялами,
Один не спит среди вас!
Он имеет мандат на завтра,
Ибо держит нерв этого дня.
Он встает
Машет руками подле входа —
Он возле самой дырки.
Я воплю среди ночи:
Спите спокойно,
Поэты,
Под одеялами!
Спите спокойно, ибо я перестал спать.
Я —
Наивный и великий.
Меня простит будущее.
И когда завтра
Не простят вам —
Я беру на себя ваши долги —
Мне простят.
Ложе ждет.
Но сон не прельщает меня —
Спите спокойно,
Поэты, под одеялами.
А когда встретимся завтра,
Я высплюсь в разговоре с вами.

У меня было много работы
За вас всех.
Но пульс у меня здоровый
И крови много в теле моем,
Голова у меня не болит,
И вообще не люблю болеть.
Я назначен на свое место
И исполняю обязанности.
Спите
Спокойно,
Поэты,
Под одеялами —
Я сделал за вас всех,
Вы дергаетесь и болеете сердцем,
Тлеет все ваше добро!
Отдыхайте, поэты, в покоях своих!
Я влюблен в себя,
Ибо люблю современность.

(С. Пилипенко).

Она пришла ко мне
Сегодня —
Та, что соединила звоночки
Нитками.
От окна к окну гирлянды
И золотые звездочки от звезды к звезде.
И подругу свою привела.
И сказала: познакомьтесь,
Она наша.
В белом была подруга,
Хорошенькая девушка из балетной студии.
Покраснела.
Весь мир, перетянутый
Тоненькими паутинками с золотыми звоночками,
И девушка радостью смеялась —
Как это прекрасно —
Звоночки звенят.
И призналась девушка,
Что она любит поэтов *à la Arthur Rimbaud*
И что очень рада, что познакомилась со мной.

И сказала, что мы создадим фантазию,
Разорвем где-нибудь тонюсенькую ниточку
И украдем для обоих один малюсенький золотой звоночек.

(Д. Выодский).

ПАРИКМАХЕР.

Сегодня весь день было так скверно,
Словно вместе сошлись Олесь, Вороный и Чупрынка.
Было как-то дождливо — по осеннему лицемерно —
В душе целый день парикмахер на гитаре трынькал.
Порой думал о ней. Набросал эскиз для посланья
Что послано ей не будет, конечно.
Вспомнил два-три французских словосочетанья.
На икону Христа поглядывал беспечно.
Напевал банальные вальсы безголосно,
Роясь взглядом в прилипшей к потолку паутине.
Нет, мне было только тоскливо — только несносно.
В сердце моем изгнивала дыня.

(Р. Победимский).

КОНДУКТОР.

Хорошо быть
кондуктором на товарном поезде!
В пасмурную ночь,
осеннюю, дождливую,
сидеть на тормазе
в тулупе,
согнувшись, с'ежившись,
глядеть в бегущую бездну.
О днях, что минули,
что в сердце остались,
как светлые пятна,
про образы милые,
заснувшие в груди навеки,
навеки,—
мечтать,
вглядываясь в мрак.

(Ю. Олеша).

АЭРОПЛАН.

Плавно
Лебедем снялся,
Поплыл и поплыл
В облаках
(Крылья врезались в белый туман).
О, кто знает
Куда магистрали
В синей дали
Тянет пропеллер?!
Разлетелись дымом легенды
Про колесницу пророка.
Над землей опаленный солнцем
Черным демоном реет пилот.
Что пустыни и синие бездны,
Когда разум гигантским сверлом
От Икара до башни Эйфеля
Сверлит сбоку и снизу простор?
Вот над нами все выше и выше...
Кто полета впитает красу?
В тучах пропеллер не слышен,
Руль послушно внимает пловцу.

Кто удержит? Кому хватит силы?
Разве есть параболе конец?
Разве не стерлись морщины
На людском всемогущем челе?
В облаках,
В облаках
Стальным сверлом небесную даль
Звонко
Сверлит
В лете победном
Аэроплан.

(С. Шилипенко).

ОЛЕКСА СЛИСАРЕНКО (р. 1891)

ИЗ «ПОЭМЫ ПРЕНЕБРЕЖЕНЬЯ».

1. Топор у меня и пила
в руках, тяжелых от мускулов:
я вытесал остов нового дома.

2. О, как я когда-то поиздеваюсь над вами,
когда будете вы замерзать
с портфелями,
с набитыми планами роскошных дворцов.

3. Мечтаю я, в грядущее вглядываясь:
там, по его лесам,
на праздничных полянах
растут большие метлы —
они выметут сор,
который тысячи поэтов сусалили.

4. Сердце трепещет мое
предчувствием неизбежного,
а ваши сердца
дрожат уходящим.

5. В руках моих плуг
стопудовыми глыбами двигает,

а вы чернозем
ковыряете пальцами.
6. Мне жаль вас,
мои современники!

(М. Доленго).

ИЗ ПОЭМЫ «ОКСАНА».

I.

Не бледная судьба деревни и завода
повисла вся в слезах на стремени коня,—
то где-то над Донцом воспоминанья бродят
и голубой волной задумчиво звенят.

. . . . . .

II.

И долы, и поля гудели и стонали,
от трупов стлался дух, как от осенних трав...
А небо разлило холодный блеск опала
на кудри тополей из синего ведра...
На сталь и провода ползли бездумно танки,
и корчилась земля за ними, вся в крови...
Катилось солнце вдаль на золотой тачанке
и пропадало там, за гранями, в степи.
И точно пульса бой, дрожали горизонты,
где месяц изогнул свою седую бровь...
На запад золотой, на пыль и гулы фронта
шли армии в крови, чтоб не вернуться вновь.
И тяжко стало жить. Покинула Оксана
любимое село, гей, для иной мечты.

Она пошла туда, где смерть, огонь и раны,
где на очах печаль, а в сердце только дым...
Как терпко пахли дни травой и йодоформом,
и снились ей бои, и ночь, и тишина,—
как бы холодный блеск орудий на платформах,
когда в крови цветет от выстрелов луна...
Летели мысли вдаль, как листья в дрожи зыбкой...
И сердцем поняла Оксана боль войны,—
так иногда дитя осветится улыбкой,
когда над ним плывут задумчивые сны.
И часто по ночам, когда шумело поле
и призраки неслись за поездом толпой,
казалось небо ей покинутым забоем
и лампочки огнем—ей месяц золотой.
От зарев в небеса тянулись чьи-то руки,
навстречу звезды им дрожали с вышины,
и грезили луга, поблекшие от муки,
казалось, никогда им не вернуть весны...
Червонцы в бурьянах дрожали теплым звоном
и в проводах гудел и плакал телефон...
А снег уже летел, задумчивый и сонный,
как дым осенних дней, и тихий, как любовь.

III.

Давно не стало дней, когда в вечерней дали
ложится мутный взор на синие снега...
По шумным улицам знамена трепетали,
и о весне звенел водою бледный март...

И мягко бегали за окнами трамваи,
где вспыхивал порой над ними синий свет,
и сыпала цветы луна, в лазури тая,
с ладоней золотых на купола церквей...
Не теплою травой и дымом пахли дали,
с подстреленным крылом не падала беда,—
то с офицерских плеч погоны в грязь слетали,
как листья желтые, под сапоги солдат.
Как радостно пила Оксана воли ветер
Когда пылали дни февральскою грозой,—
ведь видела она в холодном лазарете
от боли и тоски туманный брата взор.

. . . . . .

И снится каждый раз далекий полустанок,
где ветер тополи дугою выгибал,
в вагоне сквозь окно Оксаны взор туманный,
и где-то за селом погоня и стрельба...

(Авто-перевод).



Раздули горны мы, и наковальня скоро,
Задумчиво звеня, к труду нас позовет.
Бледнеет старый мир, где осень с желтым взором
На золотых челнах в ночную тьму плывет.
Завод любимый мой! Покорным сыном снова
К тебе вернулся я с мольбою на устах.
Я к телкам не пойду под неба синим кровом,
Не поклонюсь, дрожа, копытам и цветам.
Где с черным золотом во тьме бегут вагоны,
Шахтеры на огонь, согнувшись, там идут.
За ними по воде китайцы и чалдоны,
И стелется тайги тревожный дух.
Раздули горны мы. И наковальня скоро,
Задумчиво звеня, к труду нас позовет.
Бледнеет старый мир, где осень с желтым взором
На золотых челнах в ночную тьму плывет.

(Авто-перевод).

КРАСНАЯ ЗИМА.

(Отрывок).

Зима. На фронт, на фронт! А на перроне — люди.
И у вагона вновь поем мы «Чумака»,
И радость без конца волнует наши груди,
Равняет бедность нас, как волны — берега.
О, четкие штыки в заре кроваво-алой!
И у звонка сестра безмолвная стоит.
Но мать моя на бой меня не провожала,
И сердце иногда невольно защемит.
И точно снится мне: раскрытые вагоны,
Привет из-за Донца враг из орудий шлет,
Но не боимся, нет, мы банд златоногонных,—
Уже не мало их пустили мы под лед.
Зима! На фронт, на фронт! А на перроне люди.
У эшелона вновь поем мы «Чумака».
И радость без конца волнует наши груди,
Равняет бедность нас, как волны — берега.

(Авто-перевод).

ШВЕЯ.

Наклоненная головка.
Локон вьется по щеке...
И без устали иголка
Взад-вперед снует в руке.

Чье-то платье на коленях,
Лампы тусклый свет и чад.
От ресниц пушистых тени
Темно-синие дрожат.

Нудный кашель ночь от ночи,
Стоны ветра под окном...
И красны больные очи,
Незнакомые со сном.

Стан сутулится немножко,
Серый штопаный платок...
Ох, не сладок, видно, крошке
Заработанный кусок!

(С. Пилипенко).

ЛЕТО.

(Нью-Йорк, 1922)

Лето. Ох, в городе лето—
Кромешное пекло.
Ведь это
Не в поле, где цветом
Душу людскую все веселит, все поет.
Где солнышко греет, греет, не жжет,
А тут... Ах, тут!
Идут.
И льет со всех холодный пот, как
лед.
Не пот,
А кровь.
И город—словно домна,
И днем, и ночью полный
Кипящим сплавом.
Давит.
Жжет.
Да, в городе тяжелое житье!

(С. Пилипенко).

В. ПАЧОВСКОМУ.

Звездочка, мама моя...
Море зовет меня.
В бездны влечет меня.
Ждет меня, ждет меня.
Море!
Я стосковался, измучился я,
Звездочка, мама моя!
Душит неясное горе.
Смутной душою молчу.
В море! В свободное море!
Там я мой крик прокричу.
Я забвенья хочу!
Вдохновенья хочу.
Море... Море...
Тихие горы-могила.
Звездочка, мама моя,
Так говорила:
«Сын мой, останься!
Горы так дивно красивы,
Горы божественны.
Сын мой, со мною останься,

Сын мой, останься в горах!»
Ах,
Звездочка, мама моя...
Горы красивы,
Горы божественны,
Старшие братья мои.
Гордой тоскою, как я, молчаливы.
Но истомленные думы мои,
Ждущие новой любви.
В буре далекой заслышался плач.
....Конь исступленный, несущийся
В буре далекой [вскачь...
Плач одинокий—
Чем заглушить мне тот плач?
Свет над горами моими погас.
Ждут меня пламя-об'ятья.
Ухожу я от вас.
Пусть уйду в добрый час,
Горы-братья!
Кину я горе,
Тусклое горе.
Гидрой стоглавою
Ждет меня море.
Знаю, отравленный я
Дикой отравою:
Горы, не ваш я. Не твой уже я,
Звездочка, мама моя!
«Стой. Не иди!»

Звездочка, мама моя,
Вдаль погляди.
Море синеет.
Что там белеет?
Челн мой белеет.
Час мой. Вперед.
Море ждет.

(Иван Рукавишников).

КОЧЕГАР.

Взлетает дым —
под солнце, в сферы,
но выше дыма — мой гудок.
Он кличет из кварталов серых
всех, всех сюда —
где пласт залег,
где жажда горло жжет,
где насквозь пронимает нот,
где горный хлеб лежит
блестящей глыбой.
Играет сердце
через край,
кипит —
и клекотом мажорным,
трубою над землей чернея,
не тужит
не скорбит по ней,
а поджидает с неба гостя,
такого-ж сильного,
как я!
То не котел в дыму,

не синий пар взвился —
мой взгляд в огне я подниму,
вонзая в небеса.
Манометр все туже, туже
мой напрягает дух,
усталости не знать бы
не выпустить из рук
мой чорный хлеб —
насущный антрацит.
Им тело насыщаю,
заводу кровь даю;
кровь силу закаляет,
пьянит любовь мою.
Из кожи рукавицы.
Я кочергу беру,
и сталь мне покорится —
не выпущу из рук:
пасу огонь в полях железных
и выгребаю шлак.
Дыша свободнее, вбирает
нагретый воздух паровик
и торопливо все глотает,
жует,
и горстью вмиг
под небо свой бросает вызов, —
Да знает солнце,
где пылает

его бушующий родник,
чтоб не печалилось под старость.
Тут — пламя!
Тут огонь —
он в мысли человека,
в паровике,—
вовеки.
Я ж — кочегар,
бессменный жрец,
на страже у него.

(Г. П.)

ПЛУГ.

Ветер.
Не ветер — буря!
Рушит, ломает, с корнем рвет...
За тучами горными
кует над горнами,
за тучами горными миллионов
мускулистых рук...
Катит. В землю вонзает,—
в город, дорогу, луг
вонзает плуг.

На земле люди, звери, сады,
на земле боги и храмы:
о, пройди же над нами, правый,
рассуди!

А многие убегали
в пещеры, топи, леса.
Что за сила плывет в небесах —
не знали.
И никто не пел, не плясах.

(огневого коня ветер гнал —
огневого коня —
по ночам —)
И застывшим их мертвым очам
улыбнулась краса нового дня.
Очам!

(Дионис Помрении).

ПСАЛОМ ЖЕЛЕЗУ.

I.

Полянем и ненавидим медь,
Бетоны и чугуны.
Ой, что там в поле, что за гул:
Татары? турки? гунны?
Выходим утром, как из нор.
Покрылись пылью дали.
И не цветы — клинки, пытыки
В долине засверкали.
Ударит... вспыхнет... загремит.
Затихнет за горою.
Но вот опять — спешит, шумит
Вверху над головою.
Заржет, метнется,— и взвился,
Копыта в тучу врезав.
И с криком новый в небеса
Встает псалом железу.

II.

За океаном совесть, честь,
А право — за морями.
Хотя б вокзал понес, будя

Промышленность свистками.
В чахотке город: кашель, кровь.
На труп — вороны, галки...
Лишь иногда, как бы сквозь сон,
Оркестр и катафалки.
И ходят слухи: генерал
Удрал на зорьке ранней.
Без боя город отдадут,
Коль он в кольце восстаний.
Стоит завод... Не ест, не пьет.
Ни гайки, ни нареза!
И, молча, новый в небеса
Встает псалом железу.

III.

Прошел, как сон, блаженный час
И готик, и барроко.
Идет чугунный ренессанс,
Спокойно щуря око.
Нам все равно: иль бог, иль чорт...
Ведь оба генералы!
Соборы брови подняли,
И наутек — кварталы.
Над городом — и стон и крик,
Как из перины — перья.
Зеленое умчалось вдаль
В испуге повечерье.

Что там горит? Архив? Музей?
Зарядим митральезу!
С проклятьем новый в небеса
Встает псалом железу.

IV.

Вам власть на-чорта? Был бы хлеб!
Насытьте голод старый.
А за повстанцами поют,
Шагают коммунары.
Терпи, товарищ, подожди!
Еще мы поцируем,
Когда поможете вы нам
Расправиться с буржуем.
Идут рабочие гурьбой
На митинг из предместий.
Над ними ленты и цветы,
Как будто на невесте.
Голубка, солнце и листва
Воркуют марсельезу.
И ало новый в небеса
Встает псалом железу.

(Павел Шлейман).

НА МАЙДАНЕ.

На майдане * возле церкви
революция пошла.
— Пусть пастух идет — раздалось —
атаманом от села!

Ну, прощайте, ждите воли.
На коней! И всё в пыли.
Забурлило, зашумело —
лишь знамена зацвели.

На майдане — возле церкви
только матери грустны.
— Освети-ж ты им дорогу,
ясный месяц, с вышины!..

На майдане шум смолкает.
Пыль слетает прочь...
Вечер.
Ночь.

(Е. Новская).

---

* Майдан — площадь.

Тут же за селом
всех их расстреляли.
всех поголяли.
в очи хохотали,
били им челом.

Помутился свет,
все теперь на воле,
всем вам дали поля,
в головах — приволье, —
а голов и нет!

А как день прошел —
за селом светило
с пеньем ходило.
Плакало. Кадило.
Неповинный дол...

(Е. Ивская).

ПЕРВОМАЙСКАЯ ПАСХА.

Дождь, пасхальный дождь
крыл асфальт в грозе—
— лённые побеги
гнало из земли.
То Христос воскрес,
смертью смерть поправ.
Ветерок упорно
кленом день клонил.
Только вдруг—раз!
врезался оркестр:
— Не Христос воскрес,—
а рабочий класс!
Только вдруг — раз!
гул семьи рабов
— чей же ярче праздник,
чем вот этот май?
Топот. Трубы. Гром.
Небо в бирюзе —
— лённые побеги
кленом день клонил.

(*И. Шлейман*).

Где-то реяла весна. Я сказал ей: Ты весна! —
Голубками сизокрылыми
в уголках любимых губ
что-то вспыхнуло насмешливо
и исчезло в глубине...
Колос в поле — золотей.— Золотая! — молвил ей.
Гневно брови надломились.
Отвернулась и ушла.
Но оглядывалась долго,
точно за собой звала.
Шли туманы от воды. Я сказал: Не любишь ты!
Стала. Взгляд метнула, молвила:
— Вот и осень прошла...
Так любить? — Скажи! Скорееже! —
Смех блеснул, как острый нож.
Замели снега пути. Я сказал ей: Что-ж, прости!..
Вдруг сиянием приветливым
чтото брызнуло из глаз...
Сизокрылою голубкою
льнет к моим она устам.

(Е. Новская).

ИЗ ПОЭМЫ «В КОСМИЧЕСКОМ ОРКЕСТРЕ».

Ядром стремительным у солнца
земля описывает круг.
Рысцой за нею лысый месяц
беззубо щурится в монокль.

Боящихся воды и солнца,
беззубых сколько на земле!
Роди, земля, нам юных сердцем,
богатырей нам возлелей!

Народы и века стекают
к свободе на багровый путь,
и землю кровью утучняют,
и в землю истлевать идут.

На смену им в скорбях куются
за днями дни под говор пуль,
чтоб двигать горы революций
опять в октябрь, опять в июль.

Кто сердцем юн, вставайте, братья!
Республика, гряди, гряди!
Исторгни, море, рать за ратью!
Земля, богатырей роди!

Ядром стремительным у солнца
земля описывает круг.
Рысцой за нею лысый месяц
беззубо щурится в монокль.

Гляди и знай, что нет пощады,
в народ дорога заперта,
что отцвели твои декады,
угасла жалкая мечта.

Кто сердцем юн, пылайте, братья!
Республика, гряди, гряди!
Исторгни, море, рать за ратью,
Земля, богатырей роди!

(Л. Помрешин).

Есенин, Белый, Блок и Клюев...
Россия, Русь, о Русь моя!
...Стоит сто раз распятый Киев,
и двести раз распятый я.

Там песня: солнце! — гром: Мессия! —
Туман, долины, топь и выть...
Родит Украина Мойсея,—
Не может далее так быть.
Не может быть, я слышу, знаю.
Когда вокруг восстаний бред,
Я в степи нервами бросаю:
Восстань, поэт!

Там чернозем взвился виденьем
И лик скривил в кровавый смех...
Любить свой край не преступленье,—
Коль то для всех.

(Юрий Полетика).

СОЛНЕЧНЫЕ КЛАРНЕТЫ.

Не Зевс, не Пан, не Голубь-Дух,—
Лишь звонких солнц кларнеты.
Я в танце мчусь, ритмичный круг,
в бессмертном все планеты.

Я был не я. Лишь греза, сон.
Повсюду звоны, звуки,
Животворящий тьмы хитон
И благовестий руки.

Проснулся я — и я стал Ты.
За мной и надо мною
Бегут миры из темноты
Певучею рекою.
И я стерег и пламенел:
аккордились планеты.
Навек узнал, что Ты не гнев —
Лишь звоиких солнц кларнеты.

(Юрий Иолетика).

Арфами, арфами —
золотыми, молодыми отозвалися леса,
Самозвонными:

Там весна —
Тишина —
В жемчуг-ландыши
Разукрашена.

Думами, думами —
словно море кораблями, переполнилася синь
Нежнотонными:

Будет бой
Огневой!
Смех будет, плач будет
Перламутровый...

Стану я, гляну я —
зазвенело ручейками, трели песни золотой
С переливами:

Там весна —
Тишина —
В жемчуг-ландыши
Разукрашена.

Милая, милая —
ты до смерти ли устала, или счастьем налита
Там за нивами?

Ах, открой
Голос век!
Смех будет, плач будет
Перламутровый...

(Юрий Полетика).

ХОР ЛЕСНЫХ КОЛОКОЛЬЧИКОВ.

(Отрывок из поэмы).

Мы цветочки,
Синие цветочки,
Славим день.
Песней мая,
Звонами встречаем:
День!
День.

Любим солнце,
Небосвод и солнце,
Свет и тень,
Сон медвяный,
Тихие поляны:
Тень!
Тень.

Хлыньте, тучи,
О, нахлыньте, тучи,—
Ясный день.
Окропите,
Нас благословите:
День!
День.

Пусть по полю,
Золотому полю
Ляжет тень.
Всколыхнется —
Жито улыбнется:
Тень!
Тень.

(Юрий Полетика).

Я стою на круче —
за рекою звоны:
Жду твой дальний парус —
Тень там тонет, тень на дне...

Выплывают тучи —
Грусть растет, как колос.
Тучи гонят волны —
Грустно, сам я, светлый сон...

Верю омофорно —
за рекою звоны.
Снится лучезарно —
Тень там тонет, тень на дне...

Приплывешь, причалишь —
Грусть растет, как колос:
С песнею о солнце!
Грустно, сам я, светлый сон...

(Юрий Полетика).

НАДПИСЬ НА РУИНЕ.

«Я царь царей, я солнца сын могучий.
Гробницу эту я себе воздвиг,
Чтоб славили бессчетные народы,
Чтоб помнили во всех веках грядущих
Об имени...» Но дальше надпись стерлась,
И уж никто из мудрецов вселенной
Прочесть не может имени царя.
Кто стер ту надпись,— государь-соперник,
Иль времени бесстрастная рука,—
Неведомо. Узором прихотливым
Так много слов написано вокруг
О славе безымянного владыки
И о его деяниях достойных:
Вот царь сидит высоко на престоле,
Народы побежденные, с дарами,
Покорно головы пред ним склоняют,
А он недвижен, словно изваянье,—
Под опахалами из пестрых перьев,
Похожий на Тутмеса, на Рамзеса,
Как и на всех тиранов мира. Дальше,
Движеньем властным в руку захвативши

За волосы толпу рабов восставших,
Он меч кривой занес над ними грозно.
Лицо его похоже на Тарака,
На Менефта, — как и на всех тиранов.
А дальше он охотится на львов.
Левиафанов ловит по пустыням,
И едет полем чрез людские трупы,
И пиршествует в пышных теремах,
И на войну своих подвластных гонит,
И посылает на работу люд,—
На страшную безвестную работу,
Что царское должна прославить имя.
Идет народ, как волны в океане,
Без меры, без числа на эту бойню,
И стелется под ноги коням царским,
А кто живым остался из народа,—
Те гибнут на египетской работе;
На их могилах выстроить желает
Царь памятник себе—пусть гибнет раб!
И раб копает землю, тешет камни,
Приносит или лепит кирпичи,
Возводит стены, статуи, колонны,
Запрягшись, возит, носит на себе,
И величавое творит великолепье.
И статуи, и стены, и колонны,
Резьба, узоры, даже кирпичи
Незримыми устами возглашают:
— «Меня создал Египетский Народ.»

Давно уж нет царя с лицом тирана,
И надпись на его могиле стерлась.
Поэт, не грезь! Ученый, не ищи!—
Кто был тот царь, и как он назывался:
Теперь великолепная гробница
Народу памятник — пусть гибнет царь!

(И. Гаврашенко).

СФИНКС.

Давно когда-то, под палящим солнцем
Горючего Египта, на песках,
Средь мертвого безмолвия пустыни,
В душе раба, вскормленного в неволе,
Родился замысел... и охватил
Его с какой-то непонятной силой
И повелел ему: взять глыбу камня
От красных скал Ливийского хребта
И вытесать из камня изваянье,
Векам грядущим темную загадку.
И начал раб тесать горючий камень.
И все ему казалось раскаленным:
Земля и небо, и резец, и камень,
И собственное сердце. Разлетелись
Врозь от резца горячие осколки
И постепенно на песке зыбучем
Обрисовались очертанья зверя.
Вот тело льва лениво растянулось,
Как бы под зноем полдня изнывая,
Вот человеческая голова
Загадочно глядит в пески пустыни,

И улыбаются немые губы.
И был тот взгляд и злобная улыбка
Страшнее стрел убийственного солнца.
И был тот зверь пустыни назван богом.
И строились ему из камня храмы
С тяжелыми колоннами, и барки,
Украшенные лотосом, несли
Животных для кровавых жертв. В народе
О нем слагались странные легенды,
Окрашенные густо в кровь. Поэты
Ему сказанья посвящали, а
Жрецы сооружали пирамиды
Из книг, вотще разгадывавших тайну
Мертвящих взоров и улыбки злобной.
В тех книгах значились все имена
Таинственного бога: Смерть и Счастье,
Судьба и Жизнь, и множество других.
Но лучше всех пришлося имя Сфинкс,
Как самый бог загадочное имя.

(*М. Зеров*).

В КАТАКОМБАХ.

(Отрывок из пьесы).

Молодой христианин. Терпящих и смиренных не пугает
смерть на кресте, смерть за того, кто принял
за всех нас муки крестные.

Неофит-раб. Затем
он, значит, принял их, чтоб снова мы
их принимали? Где ж спасенье это,
где искупление грехов земли,
когда опять другие искупленья
кровавые, что день, то происходят?

Епископ. На небе искупленье. Не от мира
есть наше царство. Что тела?— Пусть гибнут,
но лишь бы души наши вечно жили.
Христос отдал и плоть, и кровь свою
для блага верующих, но такие
ленивые, как ты, лукавые
рабы тот дар святой без пользы губят.

Неофит-раб. А нас без пользы мало ли погибло,
нас — жертв кровавых всем богам неправым —
и до сих пор все гибнет за Царя,

что, говоришь, нас осудил на рабство?
Кто смерил путь, обставленный крестами,
что мы, рабы, издревле сведали?
Кто взвесил кровь, что до сих пор не пала
на палачей и призывает к мести
потомков тех замученных героев?
По этой крови, как по багрянице,
разостланной для кесаря триумфов,
прошла богов фаланга без конца
с земли на небо. О, доколе будет
под ноги им, тиранам бестелесным,
богам — бескровным призракам — живая
кровь литься драгоценною порфирой?
Я крови собственной не дам ни капли
за кровь Христову. Если только правда,
что он был богом, пусть хоть раз прольется
напрасно божья кровь и за людей!
Мне все равно, один ли бог на небе,
иль три, иль триста, хоть бы мириады,—
ни за кого я гибнуть не хочу,
ни за царя в неведомом Эдеме,
ни за тиранов на горе Олимпе,—
ни одному не буду я рабом.
С меня довольно рабства на земле!
Я честь воздам титану Прометею,
что не творил своих людей рабами,
что просветил не словом, но огнем,
боролся не смиреньем, но гордыней,

и мучился не три дня, а без счету,
и не назвал тирана своего
отцом, но деспотом нарек всемирным
и проклял, всем богам вещая гибель.
Я вслед за ним пойду. И коль погибну,
не за него — ему не надо жертвы,—
но лишь за то, за что и он страдал,—
пусть крест мой не пугает никого,
зане, лишь в сердце огнь святой почую
и хоть на час, на миг один смогу
жить не рабом злосчастным, но свободным,
неподъяремным, богоравным — на смерть
пойду тогда счастливым и умру
я на кресте без слова сожаленья...

Анцилладея *(внезапно разражается неудержимыми рыданьями).*

Неофит-раб. О чем, сестра, ты? Чем уязвлена?
Иль я тебя обидел резким словом?
Мне не хотелось этого... поверь...

Анцилладея. Нет, брат мой... не обидел... только... жалко...
Так жалко мне тебя... Боюсь, погибнешь...

Епископ. Не плачь. Лукавый раб не стоит слез.
Он духом поклонился Прометею,
а тот есть Сатана, извечный змей,
что искусил на грех и непокорность.

И этому рабу спасенья нет,
и нет прощенья. Он обрек себя.
Покинем нечестивца, отшатнемся,
уйдем от зла и благо сотворим.

Неофит-раб. А я пойду за волю против рабства
и выступлю за волю против вас!

(Все собранье двинулось со свечами в руках. Епископ—впереди. Неофит-раб идет один, отдельно, другим коридором, в противоположную сторону).

(Ю. Олеша).

ЗАБЫТАЯ ТЕНЬ.

Суровый Дант, изгнанник флорентийский,
Встал предо мной из тьмы средневековья.
Как время то, его суровы песни.
Он их нашел в мистическом лесу,
Средь хаоса чудовищных видений.
Чей дух за ним бы следовать решился
По темным дебрям, если бы средь терний
Там не росли роскошные цветы?
Собрал певец рукою их любовной,
Сплел их в венок, душистый несказанно,
Росой небесной окропил его
И положил на раннюю могилу
Прекрасной Беатриче Портинари,
Что раз ему когда-то улыбнулась,
А раз прошла, не кинув даже взгляда,
А в третий раз, когда ее он видел,
Она в гробу недвижима лежала...
Но для него она была, как солнце,
Что щедро льет и свет, и жизнь, и радость,
Не ведая, кому дарует их.
И хоть навек певцу погасло солнце,

Он не забыл его ни в тьме подземной,
Ни дома, у семейного огня:
Она одна царит в его терцинах,
Ибо в краю, где он витал душою,
Он не нашел себе иной подруги.
Он увенчал ее такою славой,
Какой не знала ни одна из женщин.
Века живет ее нетленный образ,
И смерть могучая над ним бессильна.
Зачем же ты, мое воображенье,
Передо мной упорно вызываешь
Иную тень, неясную как сон?
Над нею нет сиянья, нет венца,
Ее лицо окутано туманом,
Как серым покрывалом... Кто она?..
Молчат о ней художников созданья
И песни звонкие поэтов. Где-то,
На самом дне истории, лежит
О ней немая память. Кто она?..
Кто?.. Дантова жена. Лишь это имя
Осталось нам, как будто от рожденья
Другого имени она не знала.
Она ведь не была звездою путеводной,—
Она сама, как тень, пошла за тем,
Кто был вождем «Италии несчастной»,
Делила с ним тяжелый «хлеб изгнанья»,
Его очаг домашний охраняла
В скитаньях на чужбине. И не раз

Его рука, усталая, ложилась
К ней на плечо, ища опоры. Слава
Поэта дорога была ей, но
Она ни разу рук не протянула,
Чтоб взять себе хотя бы луч один.
Когда ж погас огонь в очах поэта,
Она закрыла их благоговейно.
Она жила. Но где же жизнь ее,
Ее печали, радости томленья?
История молчит. Но в мыслях вижу
Я много дней тоскливых, одиноких,
Исполненных тревоги ожиданья,
И тьму ночей, бессонных, как забота,
И горьких, как нужда. Я вижу слезы.
По тем слезам, по той росе жемчужной
Прошла к престолу славы Беатриче.

(И. Зеров).

ПЕСНЯ.

Я пойду далеко, в горы, в горы,
Где гудят задумчивые ели.

И тоску без веры и без цели
Я пущу в зеленые просторы.

Кину, кину я тоску
В очи Лесу-старику.

Я нарушу заповедь! Нарушу!
Эй! Ищи, тоска, другую душу.

(Иван Рукавишников).

ПАВЛО ФЫЛЫПОВЫЧ (р. 1891)

Белесый истомленный день утих.
Из глубины лазурного покоя
Выходит солнце тихою тропою
На раздорожье вечеров немых.

Недолгий час гостит оно у них,
И, пламенея позднею красою,
На горизонт выводит за собою
Виденья грез кроваво-золотых.

Нет больше дня. Но все ж лучисто-нежный
На небосвод и на простор надснежный
Разлился свет и не пускает тьмы.

То бледная луна смутней и тише
Те ж темно-синие узоры пишет
На белых ризах сумрачной зимы.

(Ю. Хованский).

Зеленые холмы — как весело меж вами!
Как песне весело над вами вдаль лететь
И по рядам могил печальными глазами
Легко скользить и петь — про жизнь иную петь!

А где-то там, вдали, где берег ваш синеет —
Как сладостно мечтать, что сердце занемеет,
Зальется радостью, воскреснет, задрожит,—
И что печаль земли стихает и светлеет...
И вот — проснулся Пан. И струны золотеют.
И к ним венок из роз среди забав летит.

(Е. Новская).

Думою прощальною в свой субботний час,
Дни мои весенние, ворочу я вас.

Далеко за рощами, где синеет даль —
Там венок лавровый мой, а над ним — печаль.

В путь свой неразгаданный, в горестную тьму,
В странствия надземные я его возьму.

Там порой полночною — от зарниц заря.
Там пути безмежные, где блуждал и я.

Там и сны, что снились мне, сердце мне пленив,
Там виссон и золото мне родимых нив.

Там в молчаньи вечера мой венок сплетен.
Там и колос, сорванный под вечерний звон.

Все, чему молился я — все там соберу.
С чем на свет родился я — с тем же и умру.

(Е. Новская).

ИВАН ФРАНКО (1856—1916)

ТОВАРИЩАМ ИЗ ТЮРЬМЫ.

Обрываются путы неволи,
Нас вязавшие с давним житьем.
Мысль омыта от грязей и болей.
Оживем мы еще, оживем!

Будем жить теперь новым, привольным
И любовью согретым житьем!
Через мутные, бурные волны
Мы к счастливым краям поплывем.

Через волны несчастий, неправды,
Мимо бурь и клевет и обид —
Поплывем мы к стране той священной,
Где любовь и свобода царит.

К новой битве приводит дорога.
Будет бой не за царство и гнет,
Не за церковь, попов, не за бога,
Не за барство несытых господ,

Наша цель — человечества счастье,
Разум властный без веры основ.
И всемирное братство народов,
И свободные труд и любовь.

Надо твердо в бою нам держаться,
Не пугаться, что пал первый ряд.
Хоть по трупам вперед подвигаться,
Ни на шаг отступленья назад.

Эта битва — последняя! К бою
Человек против зверя встает.
Это борет свобода неволю,
«Царство божье» на землю сойдет.

Не молитесь вы более богу:
«Да придет его царство и суд»—
Ведь молитва поможет немного
Там, где властны лишь разум и труд.

Не от бога то царство приходит,
Не святые с небес принесут,
Только разум его к нам низводит,
Воля мощная, общий наш труд.

(М. Доленго).

КАМЕНЩИКИ.

Я видел дивный сон. Как будто предо мною
Равнина дикая, безмерна и пуста.
А я стою в цепях, прикован под скалою —
Громадой каменной, высокой и немою,—
А дальше тысячи таких же, как и я.

У каждого чело печаль и жизнь изрыли,
У каждого в глазах любви огонь растет,
А руки каждого в цепях стальных изныли,
Обвившись гадом злым, нас кандалы склонили,
Всех придавил к земле какой-то страшный гнет!

Как водопада рев, как битвы гул кровавый,—
Так наши молоты гремели каждый раз.
Хоть двигались вперед мы пядь за пядью малой,
И хоть не одного калечили те скалы,—
Но мы все шли, ничто не удержало нас.

И каждый твердо знал: ни славы нам не будет,
Ни благодарности за весь кровавый труд.
Ведь лишь тогда пойдут дорогой нашей люди,
Когда ее пробьем и разравняем всюду,
А наши кости тут, под нею же, сгниют.

Да славы у людей мы вовсе не желали.
Ведь не герои мы, не властные умы,
Нет, мы — невольники, хоть добровольно взяли
Все путы на себя, рабами воли стали,
И на путях добра — лишь каменщики мы.

И мы все верили, что слабыми руками
И скалы разобьем, и раздробим гранит,
Что, кровью путь омыв, покрыв его телами,
Мы крепость возведем, в которую за нами
Жизнь новая придет и землю исцелит.

И знали мы, что там, в далеком мире где-то
(Мы бросили его для подвигов и мук),
Рыдая, матери нас, жены ждут и дети,
Друзья и недруги за кофе, на банкете
И нас, и нашу мысль, и дело все клянут.

Мы знали, и у нас душа не раз болела,
Грудь одиночеством час полночи давил.
Но все ж не жалость нас, ни все тяготы тела,
Ни гордость — не могли нас увести от дела
И молота никто из рук не уронил.

Все дальше мы идем, в одну громаду слиты
Всесильной мыслью,— молоты в руках.
Пускай мы прокляты и миром позабыты,
Мы правде торим путь, под ноги стелем плиты,
И счастье всех стоит на наших костяках.

(М. Доленго).

SEMPER IDEM.

На рожон итти нам,
Против волн грести.
Никогда не кинем
Тяжкий крест нести.

Правда против силы.
Боем против зла.
И в народ унылый
Вольности слова.

Светочи науки
Против лжи и тьмы,
Трудовые руки,
Вольные умы!

То и не родилось
Острое железо,
Чтоб им волю, правду
Самодур зарезал.

Тот и не родился
Жар, чтобы сгорело
В нем и дело духа,
А не только тело.

(М. Доленго).

СЕДОГЛАВОМУ.

Ты, братец, любишь Русь.
Я ж не люблю,— негодный.
Ты, братец, патриот,
А я — лишь пес голодный.

Ты, братец, любишь Русь,
Как мягкий хлеб и сало.
Я ж — лаю невпопад,
Чтобы она не спала.

Ты, братец, любишь Русь,
Как любишь вышить нива,—
Я ж — не люблю, как жнец
Жары не любит в жнива.

Ты, братец, любишь Русь,
Нарядной и гостинной.
Я ж — не люблю, как раб
Не любит господина.

Ведь твой патриотизм —
Воскресная одежда.
А мой — как тяжкий труд
Без цели, без надежды.

Ты любишь в ней князей
И гетманов господство.
Мне ж больно от ее
Извечного сиротства.

Ты любишь Русь—за то
Тебе и честь, и слава.
На мне ж, как рана, Русь
И жгуча, и кровава.

Ты, братец, любишь Русь,
Как дом с женою верной,—
Я ж не люблю ее,
Любя ее чрезмерно.

(М. Щепин).

Жены русские восплакашася.

Где вы не лùлись, где в нашей бывальщине?
Где вы не лились, святые, родные?
Вы в половеччине лились, вы лились в князевой удельщине,
Лились в казаччине, в барщине, в ханщине,
Женские слезы родные!

Сколько сердец надорвалось рыданьями.
Сколько убито страданьями.
Мало, как мало таких, что крепчали от мук и томления,
Слезы души претворили в слова вдохновения,
И не ушли от забвения.

Слушаю, сестры, ваш крик белопенный,
Бьющийся в тучах сердитых.
Думаю: Сколько могилок, слезами размытых,
Сколько сердец недобитых и жалоб несытых
Стоит один вдохновенный —
Крик драгоценный...

(Иван Рукавишников).

ЗЕМЛЕ МОЯ!

Земле моя, всеродящая мать!
О Сил, что в своей ты хранишь глубине,
Каплю, чтоб тверже в борьбе устоять,
Дай ты и мне.

Дай мне тепла, чтобы кровь обновить,
Сердце дыханьем к борьбе подготовь,
Дай безграничную в нем пробудить
К людям любовь!

Дай мне огня, чтоб слова зажигать,
Дай мне над душами мощную власть,
Ложь поражать и за правду стоять
Вечную страсть!

Силу рукам дай, чтоб путы везде
Рвал я, дай думам моим просветлеть,
Дай мне трудиться — и в вечном труде
Дай умереть!

(И. Кулик).

ЕСЛИ НОЧЬЮ УСЛЫШИШЬ...

Если ночью услышишь порой у окна —
Кто-то плачет, вздыхая так тяжко,—
Не тревожься тогда, не рассеивай сна,
Не гляди за окно, моя пташка.

Не сиротка блуждает, невзгоду кляня,
Не голодный бедняк, моя зорька,—
То печаль неизбывно-больная моя,
То любовь моя плачет так горько...

(И. Ю. Кулик).



МЫКОЛА ХВЫЛЬОВЫЙ (р. 1893)

ЗА ГРАНЯМИ ЗИМА.

Поселок на горе, а там завод чумазый.
Упали лепестки, как будто теплый мак.
Отщебетал певун свои степные мессы —
За гранями зима...

За гранями зима. А лебединых крыльев
Не видно на пути — мерцает листопад.
Но и лучи уже (не наточили рало)
Бледнеют на степях.

Спокойный сон! На юг там гуси потянулись.
За ними вдаль и я (сомнений тучный бег...) —
И в жизни так всегда: за солнцем мы несемся,
Лишь только замолчит вдали его напев.

Козленком ветерок — бежит в желтоосенье.
Растет на думе дуб ветвистый и нагой.
Гудок. Товарищи идут, идут, как франк-массоны,
И тихие поля за ними на покой.

Молчанье. Лишь шуршат кругом
устало листья.
И пес чрез буерак, поникнув, пробежал...
В какой гармонии увижу вновь я гостя?..
За гранями зима.

(*В. Сосюра*).

НА ПОЗИЦИИ.

Что за просторы
— Буревей!
Идет из леса
— Буревей!
И на опушке сосны стонут,
Решает ночь — и будет морок,
И выстрел упадет на грудь,
И в Семиградьи отозвутся горы.
Дорогам жутко (без дорог).
А тут — потоки, бук,
Потоки, бук,
Бук!
Так из-за проволоки скучно
...Проснулся часовой.
Что за просторы
— Буревей.
Идет из леса
— Буревей.
И на опушке сосны стонут.
Решает ночь и будет морок,
И выстрел упадет на грудь,
И в Семиградьи отозвутся горы.

(*М. Щепин*).

ГОЛОД.

Обгрызли тополя за ригой кони.
Ветер в степь летит — огневой полет.
Клубятся по дорогам и по селам стоны —
Жуть растет.
А солнце раскаленные языки острит,
А солнце в траву смертельные ножи.
Гибнут, пропадают росы.
Тревога бежит.
Уж давно колымаги со скрипучими зовами
Побрели без путей и дорог,
И на горизонте глухой, закованный —
Умирает расстрелянный гром.
Застыла лазурь вопросительным знаком.
Бледноволосые дни отцветают под вой:
За сараями голодные собаки
Доедают прошлогодний гной.

(*В. Сосюра*).

СТЕФАН ЧАРНЕЦЬКЫЙ (р. 1881)

Село тоскует. Дуб, сосна рядами
В железном сне
Тоскуют и боятся.
А тучи дымно вьются над домами.

Часы, что родились в осеннем дне,
Свинцом ложатся
На душу мне.

В грязи из'езженной дороги
Бездомный пес, пугливый пес бежит
Туда, где протянулись ребра поля.

А ветер желтый лист метет под ноги
И тихо шелестит
Про то, что чья-то доля
Зарыта в грязной тишине.

Осенний день ушел. Как скучно
Подходит ночь.
А солнца не было совсем.

Кто над водою плачет так незвучно
О том, что лето улетело прочь?..
Кто над водою плачет? И зачем?

Луна проходит над полями.
Невнятный дождь тяжелой мглою
Траву чахоточную мочит.

И ветер бродит над полями
И за собою
Тоску волочит.

(*Иван Рукавишников*).

В ШАХТЕ.

Сыро и мрачно, как будто в могиле,
Выпало кайло из рук.
Ломит спина, и дышать нету силы,
В голову—режущий стук...

Что стоишь?
Дрему прочь!
Эй, долби
День и ночь!

Отдыха нет и минуты единой,
Силы нет кайлом взмахнуть.
Если б подняться и выпрямить спину,
Воздухом свежим вздохнуть...

Что стоишь?
Дрему прочь!
Эй, долби
День и ночь!

Поздно иль рано?.. Сыро и мутно.
Тянется час, как года.
Дайте вздохнуть нам, вздохнуть нам, вздохнуть нам,
Дайте заснуть... навсегда.

Что стоишь?
Дрему прочь!
Эй, долби
День и ночь!

(И. Гаврашенко).

ПАХАРЬ.

Холодный хмурый небосвод
Навис над грустными полями
И оловянными глазами
Глядит на землю—не моргнет,
Как сфинкс недвижный. День и ночь
Пустынно поле, как гробницы,
И даже не мелькают птицы.
Живое все бежало прочь.

Ко лбу приставил я ладонь:
Там, там вдали, на мертвой грани
Мне что-то чудится в тумане:
То—человек, а рядом—конь.
Вдвоем они там пашут поле,
В конец измучены, худы,—
Любимцы вечные нужды,
Товарищи по горькой доле.

«О, раб извечный!—я спросил.
Доколе будешь ты покорным»?
Молчит. Идет по комьям чорным
За плугом, согнутый, без сил.

Его глаза полузакрыты
И тонет взор его во мгле...
И чуть ступают по земле
Коня тяжелые копыта.

(А. Гатов).

РЕВОЛЮЦИЯ.

I.

Ранним-рано — луч румяный,
Ранним-рано — буйный май.
На пригорки, на поляны
Подземелья поднимай.
Вот — восстали легионы:
За цепями цепь бежит,
И земной ковер зеленый
Одевают гроздья жит!

III.

Не спите! Сна не пробил час!
И пусть последний луч погас —
Мы снова разожжем огни
И сотворим из мрака дни.
О камень — сталью: свет горит!
Мы так же тверды, как гранит.
Идем. Идем. Несем огни,
Рождая свет, рождая дни.

IV.

Довольно! Кольцами вериг
— Трепещут алые знамена —
Они сдержать хотели сдвиг —
Но мы летим, мы — неуклонны.
И наш призывно-звонкий гимн
Сшибает синие зарницы...
Довольно! К берегам другим —
С низин. — Туда. — Мы — крылья!
— птицы!...

(*Е. Повская*).

КРАСНЫЙ ЗАПЕВ.

I.

Землю взрываем, взрываем,
Будто степные кроты,
Змеи — из нор выползаем.
Всюду — везде засеваем
Красные вихри-цветы.

Бурями сейтесь же, бурями,
Красные маков огни!
Там, за оградами хмурыми,
Гибнут тенями понурыми
Ясные светлые дни.

Громкими грянем мы звонами—
Эхо весь мир обойдет —
Кинем словами червонными:
Мира владыки с коронами —
Страшен ваш тягостный гнет.

II.

Мы — тени. Мы метки, легки.
Мы быстры, как взмахи руки.
В груди нашей ненависть — пенное море.
И ночью осенней, в об'ятиях тьмы,
Поем, окрыленные, мы
О красном терроре.

Мы страх. Мы — карающий гнев.
Мы молимся культу огней.
И кто нас отважней, и кто нас поборет?
Мы — тени. Мы — сталь. И в об'ятиях тьмы
Поем, окрыленные, мы
О красном терроре.

(А. З. Левинсон).

Расцвет осенних грез,
Осенних грез расцвет.
В ресницах я принес
Мерцающий привет.
К любимой их донес —
И вот прошу: прими —
Расцвет осенних грез —
Чтоб расцвели и мы.

(Е. Новская).

Я — иль лазурь за оградою,
Я — иль лазурь?
Знаю я, что стал твоим братом.
Знать бы к сестре стезю!
Вижу — горит под ресницами
Зорь изумрудный взгляд.
Знай же: твой брат загорится!
Знай же: рубин — твой брат!

(Е. Новская).

Грустишь. Зачем печаль?
Мой мрамор затемнится.
Я — скульптор. Новую творю скрижаль,
Чтоб отворить темницы.

И за стеной тюрьмы, за башнями ворот,
Там — далеко — в просторах —
Там сказка зачарованно живет
В коралловых уборах.

Тебе отдам обретенную сказку —
Тогда владей ключом темниц.
Пока же: засвети в глазах простую ласку,
Пока же — усмехнись...

(Е. Новская).

Столько счастья, что боюсь я. Защекочет,
как русалка,
Обовьется, перевяжет шелковинками огня.
И пленит. И зацелует нежно-нежно, жарко-жарко,
Выпивая кубок страсти, и пьянея, и пьяня.
Только миг. Обломок мига. Проблеск молний
перебежный.
И исчезнет. И как будто путь к нему заказан мне.
Вновь хочу. О, пусть пленяет! Пусть целует
жарко, нежно...
...Серебристым жалом солнце усмехается в окне..

(*Е. Новская*).

Капля за каплею — кровь.
Рощи — янтарь и рубин.
Мрачны молитвы дерев.
Ветры,— внимайте им!
Греза осенних ветвей —
Пышный рассвет весны.
Слезы — глаза — в синеве,—
Что это:— явь, или сны?...

(*Е. Новская*).

Гуденье пчел, и блики солнца,
И золото твоих кудрей.
Чего-ж грустишь ты у оконца?
Гуденье пчел и блики солнца,
И смех светлей.

Сплетем мы руки шаловливо.
День полон солнечных чудес...
А ветер шепчет сказку нивам.
Сплетем мы руки шаловливо.
— Не выдаст лес.

(*А. З. Левинсон*).

ЛЕН.

Лен, лен!
Синий, синий, белый, белый,
Полным цветом пышет лен.
Ветер смелый,
Легкокрылый,
Разгоняет летний сон.
Как от арфы потаенной,
Вольно льются крики-звоны,
И плывет за тоном тон.
В звонах-ласках,
В легких плясках
Кружат дивных фей сплетенья,
Как фантазии виденья.
А меж ними,
Молодыми —
Буйным цветом пышет лен.
Вспоминаешь давний лен,—
Отгоревший,
Отлетевший
И развеянный, как сон,
В давнем лете,

В раннем цвете,
В те часы, как мы любили,
Как разбили
Преступили,
Счастья юного закон.
Уж не наши это пляски,
Звоны нежные и сказки
И слепящий чистый цвет.
Счастья нашего не стало,
Ветром счастье разметало
На изломе юных лет.
Лен, как символ увлеченья,
Упованья, приближенья
Переливами манит...
Тает, тонет в сердце эхо,
Но не будит слез и смеха,
Сердце больше не горит...
Белый, белый, синий, синий
В разузоренной долине
Разноцветный пышет лен;
Наше счастье отлетело,
Отцвело и догорело,
Как забытый сон.

(Р. Победимский).

БЕЛЫЙ ЗАКАЛ.

Свищет пламя из горнила,
Искры брызгают вокруг.
— Все разбила, разлюбила
Без сомнений и без мук.
Бьется в сердце буйно сила,
Сушит сталь мою слезу.
— Все разбила, разлюбила.
Бахну! Трахну! Разнесу!
Рвется пламя из горнила,
Сам я в пламени сгорю.
— Все разбила, разлюбила.
Бахну! Трахну! Разорю!
Брызги золота раскину
С гневом, кровью и огнем.
Бахну, трахну, сам я згину,
Как под молотом-мечом.
Дым взмывает из горнила,
Бьется, гнется в искрах сталь.
— Все разбила, разлюбила.
Трахну!— Ничего не жаль.

(*Д. Выгодский*).

ВЕЧЕРНИЙ СТРАХ.

Опять один. Звенит... Звенит...
Дни пробегают с гор безумным хоро-[водом.
Глотает дни долина низкая.
О, дикий танец! Он меня томит,
Как Смерть, всегда далекая и близкая.
Один под сводом лет. Под черным сводом.
И толще свод, тяжеле с каждым годом.
Вот умер день... Вечерний страх...
И Ночь, давно блуждающая, вечная,
Вошла. И умерла улыбка встречная.
Как мертвый смех, как пыльный прах,
Глядит в глаза дорога бесконечная.
Шли дни. И все сказали мне:— Не верь!—
А я? Я буду ждать всегда, как жду теперь,
Я жду чего-то призрачно, обманно.
А это что-то — вон оно, в углу.
Глазами врезалось в хохочущую мглу.
Пришло по зову и незванно.
Растет. Шевелится. На сотни ног встает.
Вот — за плечами. Шепчет. Ждет.

Вот из души моей луч света жадно пьет.
А я все жду. И слышу за спиною
Шаги, с'едаемые серой тишиною.
Темно. Темно. Темно.
Как волосы шевелятся противно.
Кровавый дождь стучится переливно
В бездонное вселенское окно.
Вы слышите шаги, с'едаемые тьмою.
Один. Один. Один.
Уйди, проклятый — Зверь ли, Господин,—
Во тьме стоящий надо мною!
Сомненье, Страх... Уйди! Зачем? За что?
И я, как все, великое Ничто.

(*Иван Рукавишников*).

ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814—1861)

О люди, люди,— горемыки!
Зачем для вас нужны цари?
Зачем нужны для вас псари?
Ведь люди вы, а не собаки!
В ночь — гололедица и слякоть,
И снег, и холод. И Нева
Неторопливо тонкий лед
Куда-то под мостом несет.
А я — вот в этакую ночь —
Иду! От кашля мне не в мочь.
И вижу: сбившись, как ягнята,
По грязи девушки куда-то
Бредут... Калека дряхлый дед,
Согбен, за ними ковыляет,
Как будто в стойло загоняет
Скотину чью-то... Где же свет?
И где же правда? Горе, горе!
И ненакормленных, и голых
Бедняжек сирых, точно стадо,
Ведут — («последний долг отдать»)
И не прийдет к несчастным мать!..

Что-ж, будет суд? Падет ли кара
На всех царят, на царский род?
Дождется ль правды наш народ?
Так должно быть! Иль солнце встанет
И землю мерзкую сожжет.

(Е. Новская).

СНЫ.

(Отрывок).

Душа моя,
О чем горько плачешь?
О чем ты тоскуешь? Ты разве не
видишь?
Ты разве не слышишь рыданий людских?
Смотри же! А сам полечу я от них
Высоко-высоко, за синие дали
Где нету ни плача, ни горькой печали,
Нет плача людского — и смех там утих.
А в этом раю, что в слезах покидаешь,
Последние с нищих снимают лохмотья,
Со шкурой сдирают, чтоб пана отродье —
Обуть барчука... А там распинают
За подать вдовицу, а сына куют.
Дитя дорогое, единого сына,
Надежду и радость, в солдаты берут.
Их пропасть ведь нужно!
А там под забором
Ребенок распухший от голода мрет,
А мать его в поле на барщине жнет.

(Е. Новская).

ИВАН ПОДКОВА.

Было время — по Украйне
Пушки грохотали;
Было время — запорожцы
Жили-пировали:
Пировали, добывали
Славы, вольной воли.
Все минуло — остались
Лишь могилы в поле.
Те высокие могилы,
Где лежит зарыто
Тело белое казачье,
Саваном повито.
И чернеют те могилы,
Словно горы, в поле.
И лишь с ветром перелетным
Шепчутся про волю.
Славу дедовскую ветер
По полю разносит...
Внук услышит — песню сложит,
И с той песней косит.
Было время — на Украйне
В пляску шло и горе:

Как вина да меду вдоволь —
По колена море.
Да, жилось когда-то славно.
И теперь вспомянешь,
Как-то легче станет сердцу,
Веселее взглянешь.
Встала туча над Лиманом,
Солнце заслоняет;
Лютым зверем сине море
Стонет, завывает.
Днепр надулся. Что-ж, ребята,
Время мы теряем?
В лодки! море расходилось:
То-то погуляем.
Высыпают запорожцы;
Вот Лиман покрыли
Их ладьи. Играй же, море!
Волны заходили...
За волнами, за горами
Берега пропали.
Сердце ноет; козаки же
Веселее стали.
Плещут весла; песня льется;
Чайка вкруг порхает...
Атаман в передней лодке —
Путь-дорогу знает.
Там все ходит вдоль по лодке;
Трубку сжал зубами;

Взглянет вправо, взглянет влево —
Где-б сойтись с врагами.
Закрутил он ус свой черный,
Вскинул чуб косматый,
Поднял шапку — лодки стали.
— Сгинь ты, враг проклятый!
Поплывемте не к Синопу,
Братцы-атаманы,
А в Царьград поедем — в гости
К самому султану.
— Ладно, батько! — загремело.
— Ну, спасибо, братцы!
И накрылся. Вновь горами
Волны громоздятся...
И опять он вдоль по лодке
Ходит, не садится;
Только молча — исподлобья
На волну косится.

(М. Михайлов).

ИЗ ПОЭМЫ «ГАЙДАМАКИ».

(Отрывок).

Долго-долго по Украйне
Та гроза гремела;
Долго-долго кровь степями
Лилась и алела.
Лилась-лилась и подсохла.
Степи зеленеют,
Деды спать легли,— курганы
В головах синеют.
Ну, да что же, что высоки?
Их никто не знает
И над ними не заплачет
И не разгадает.
Только ветер тихо-тихо
Пролетит над ними,
Да роса поутру рано
Их умоет. Встанет солнце —
Высушит, пригреет...
А внучата? нет им дела —
В поле жито сеют!
Много их, а кто укажет,
Где лежит в могиле

Гонта, мученик за правду?
Где похоронили?
Железняк, душа прямая,
Где опочивает?
Тяжко! Больно! Все погибло —
Их не вспоминают.
Долго-долго по Украйне
Та гроза гремела;
Долго-долго кровь стенями
Лилась и алела.
День и ночь под тем погромом
Стонет стень и гнется.
Грустно, страшно! а вспомянешь
Сердце усмехнется.

(*Л. Мей*).

ИЗ ПОЭМЫ «ГАЙДАМАКИ»

(Эпилог).

Минуло то время, давно миновало,
Когда я ребенком голодным блуждал
По той по Украйне, где Гонта, бывало,
С ножом освященным, как ветер, гулял.
Минуло то время, как теми путями,
Где шли гайдамаки, босыми ногами
Ходил я, стараясь найти где-нибудь
Людей, чтоб к добру указали мне путь.
Припомнил — и плачу, что горе минуло.
О, если б ты снова ко мне завернуло,
Я отдал бы с радостью счастье мое
За прежние слезы, за горе-житье!
Припомнил — и снова поляны родные,
И дед, и отец, и невзгоды былые
Пред взором проносятся. Жив еще дед,
Отец же в могиле — родимого нет.
Бывало, в субботу, закрывши Минеи
И выпив по чарке родной романеи,
Отец просит деда, чтоб тот рассказал,
Как в Умани встарь гайдамаки гуляли,
Как Гонта проклятых поляков карал.

Столетние очи, как звезды сияли
И лился, смеялся ужасный рассказ:
Как гибли поляки, как села горели.
Соседи, бывало, от страха немели,
И мне, бедняку, довелося не раз
Оплакивать ктитора злую судьбину.
И, слушая деда, никто не видал,
Как малый ребенок за печкой рыдал.
Спасибо, родимый, что ты про кручину,
Про славу казацкую мне рассказал:
Рассказ твой я внукам теперь передал.

(*И. Гербель*).

ИЗ ПОЭМЫ «ГАЙДАМАКИ».

В огороде пастернак, пастернак;
Аль тебе я не казак, не казак?
Аль тебя я не люблю, не люблю?
Аль тебе я черевичков не куплю?
Я куплю тебе обновку,
Распотешу чернобровку!
Буду, сердце, ходить,
Буду, сердце, любить!
Ой, гоп-гопака!
Полюбила казака,
Только старый да недюжий,—
Только рыжий, неуклюжий,—
Вот и доля вся пока!
Доля следом за тоскою,
А ты, старый, за водою,
А сама-то я в шинок,
Да хвачу себе крючок,
А потом — все чок да чок:
Чарка первая колом,
А вторая соколом...

Старый — рыжий — бабу кличет:
Только баба кукиш тычет:
—«Коль женился, сатана,
Добывай же мне пшена:
Надо деток пожалеть
Накормить и приодеть.
Добывай, не то — быть худу,
А уж я сама добуду...
А ты, старый, не греши —
Колыбельку колыши,
Да молчи и не дыши.
Как была я молодою да угодницею,
Я повесила передник над оконницею,
Кто-б ни шел — не минет
И кивнет, и моргнет.
Я в окошечко киваю,
Шелком в пяльцах вышиваю...
Ох, Семены, вы, Иваны,
Надевайте-ка жупаны,
Да со мной гулять пойдемте,
Да присядем—запоемте...

(М. Мей).

ИЗ ПОЭМЫ «ГАЙДАМАКИ».

(Отрывок).

От села и до села
Музыка и пляска:
За наседку черевички —
Будет же им таска!
От села и до села
Я бы расплясалась:
Ни коровы, ни вола —
Хата мне осталась!
Да и ту продам куме
Я со всем прибором
И куплю себе шалаш
Прямо под забором;
Торговать и шинковать
Буду я крючками,
И тогда-то уж гулять
Буду с молодцами.
Ох, вы, деточки мои,
Ох, вы, голубятки!
Не стыдитесь, подивитесь,
Как танцует матка.

Я в наем пойду; детей
В школу... да и в пляску —
И червоным черевичкам
Я задам же таску!

(Л. Мей).

ИЗ ПОЭМЫ «СНЫ».

Смех и слезы. Сердце рвется,
Ноет от досады...
Вот — бреду — и вижу всюду
Я дворцов громады
Над свободною, широкой,
Тихою рекою,
Берег весь реки обложен
Каменной стеною.
Как же то в гнилом болоте
Чудо совершилось?
Без ножа, должно быть, крови
Много тут пролилось...
Через реку — крепость, церковь
С колокольней тонкой,
Как иголка, заостренной...
Бой часов там звонко
Раздается. Оглянулся,—
По скале гранита
Без седла несется всадник,—
Голова открыта;
Свитка плечи покрывает,

Или что другое.
Голова в каких-то листьях,—
Что это такое?
Конь — как бешеный: вот реку
Вот-вот перескочит;
Всадник руку простирает,
Словно мир весь хочет
Сжать в кулак. Вот подхожу я,
Надпись разбирая,
Что насечена на камне:
«Первому — Вторая»
Это диво поставила.
Ну, теперь я знаю;
Это «Первый» распинал он
Нашу Украину,
А «Вторая» доканала
Вдову-сиротину.
Палачи и людоеды,
Наелись вы двое,
Понакрались,—а что взяли
На тот свет с собою?
Тяжело мне, тяжко стало,—
Будто я читаю
Историю Украины.
Стою, замираю...

(И. Белоусов).

ОТРЫВОК ИЗ ПОВЕСТИ «КАТЕРИНА».

Есть на свете доля —
С кем она спозналась?
Есть на свете воля —
Да кому досталась?
Есть на свете люди —
Золотом сияют,
Кажется, чего бы —
Долюшки не знают.
Ни доли, ни воли
Кафтан надевают
С кручиной, а плакать —
Так стыд запрещает.
Золото возьмите,
Будьте им богаты,
Мне же дайте слезы
Выплакать утраты.
Затоплю недолю
Частыми слезами,
Затопчу неволю
Босыми ногами.

Тогда я богатый,
Тогда я довольный —
Как сердце взыграет
Касаткою вольной.

(Н. Гербель).

ДУМА.

Проходят дни, проходят ночи
Прошло и лето; шелестит
Лист пожелтевший; гаснут очи;
Заснули думы; сердце спит.
Заснуло все... Не знаю я —
Живешь ли ты, душа моя.
Бесстрастно я гляжу на свет,
И нету слез, и смеху нет.
А доля где моя? Судьбою,
Знать, не дано мне никакой;
Но если я благой не стою,
Зачем не выпало хоть злой?
Не дай, о боже, как во сне
Блуждать, остынуть сердцем мне!
Гнилой колодой на пути
Лежать меня не попусти.
Но жить мне дай, творец небесный,
О, дай мне сердцем, сердцем жить,
Чтоб я хвалил твой мир чудесный,
Чтоб мог я ближнего любить.

Страшна неволя—тяжко в ней;
На воле жить — и спать — страшней;
Прожить ужасно без следа:
И смерть, и жизнь — одно тогда.

(*А. Плещеев*).

ДУМЫ.

(Отрывок).

Ох, вы, думы мои, думы,
Тяжело мне с вами!
Что вы стали на бумаге
Хмурыми рядами?
Что вас ветер не развеял
В поле, как былинок?
Что вас горе не заспало,
Бедных сиротинок?
Знать, оно вас на-смех породило,
Во слезах крестило... что ж не утопило,
Не умчало в море, разметав по полю?
Не сказали-б люди про мою недолю:
«Нечего и делать!»
Думы мои, дети!
Для чего любил вас, для чего ласкал?
Иль заплачет сердце хоть одно на свете
Так, как я, над вами? иль я угадал?
Или сердце, или очи карие найду я!
Что заплачут и над вами,—
Больше не хочу я.

Только б слезка с темно-карих —
И пан над панами...
Ох, вы, думы мои, думы!
Тяжело мне с вами!

(*Л. Мей*).

ВЕЧЕР.

Вишневый садик возле хаты;
Жуки над вишнями гудят;
Вот пахари идут назад;
И с песнями гурьбой девчата
Домой на вечерю спешат.
Семья их ждет, и все готово;
Звезда вечерняя встает,
И дочка ужин подает,
А мать сказала бы ей слово,
Да соловейка не дает.
Мать уложила возле хаты
Малюток деточек своих;
Сама заснула возле них...
Затихло все: одни девчата
Да соловейка не затих.*

(Л. Мей).

---

* Переводчиком текст изменен.

ПЕСНЯ.

Проторила я тропинку
Через яр,

Через гору, мой сердечный,
На базар.

Парням бублики носила
Вечерком;

Продала и воротилась
С пятаком.

Я два гроша, ох, два гроша
Пропила,

На копейку музыканта
Наняла,

Ты сыграй-ка мне на дудке
На своей...

Чтоб забыла я кручину,
Горе с ней.

Вот какая, мой сердечный,
Девка я,

Сватай—выйду я, пожалуй,
За тебя.

(*А. Плещеев*).

ЮРОДИВЫЙ.*

Во дни фельдфебеля-царя
Капрал Гаврилович Безрукий,
Да унтер пьяный Долгорукий,
Украйной правили. Добра
Они изрядно натворили...
В солдаты многих лиц забрили
Сатрапы эти, унтера.
А сверх того, Гаврилыч бритый,
Ученьем строгим знаменитый,
С своим ефрейтором меньшим,
На горе бравым и лихим,
Так над людьми домуштровались,
Что сам фельдфебель «поражались»
В краю правлением таким
И к ним, к ефрейторам своим,
«Преблагосклонны пребывали».
А мы смотрели и молчали,

---

* Написано по поводу приключения с Киевским ген.-губернатором Дм Гавоил. Бибиковым; он назван „Безруким" потому, что в 1812 г. в Бородинской битве действительно лишился левой руки.

Почесывая лишь чубы,
Немые, подлые рабы,
Подножки царские, лакеи
Капрала пьяного! Не вам,
Не вам, в узорчатой ливрее,
Доносчики и фарисеи,
За правду и свободу встать!
Вы в жизни только распинать,
А не любить учились брата!
О ты, род суетный, проклятый,
Когда исчезнешь ты? Когда
Мы все дождемся Вашингтона
В лучах правдивого закона?
Но наша сбудется мечта!
Не сотни вас, а миллионы
Полян, Дулебов и Древлян
Гаврилыч гнул во время оно;
А вас, страдальцев, Киевлян,
И ваших милых Киевлянок
Отдал своим прохвостам пьяным
Всем в рабство он, сатрап-капрал!
Вам все равно. Но между вами
Какой-то все-ж оригинал
А об'явился,— даже в храме
Он вспышку гнева не сдержал
И в морду угостил капрала!
Да зажило на нем,— пропало

Как на собаке.
Так-то, так!
Нашелся все-ж один казак
Из миллиона свинопасов,
Что вдруг все царство всполошил:
Сатрапу в морду закатил.
А вы, глупцы, в усердьи льстивом,
В то время, как болел капрал,
Вы об'явили юродивым
Святого рыцаря!
Не внял
Фельдфебель ваш, Сарданапал,
Послал на каторгу святого!
К побитому ж сатрапу снова
«Преблагосклонным навсегда»
Остался.
Ничего иного
Не вышло больше... Без труда
Все позабылось в этой драме;
Глухими, темными рядами
Как сор повымелось... А я...
— О ясная звезда моя!
О спутница суровой доли!
Ведешь ты из тюрьмы, неволи,
Не в благодатные края,—
Как раз ведешь меня, сияя,
Ты в омут смрадный Николая!

И светишь, и горишь над ним
Огнем невидимым, святым,
Животворящим! а из гноя
Встают столбом передо мною
Его безбожные дела...
Безбожный царь, творец ты зла,
Гонитель правды ты жестокий,
Что ты наделал на земле?!
А ты, всевидящее Око!
Иль было ты тогда высоко
И ни видало в серой мгле,
Когда закованными гнали
В Сибирь невольников святых?
Как вешали и распинали?
Ужель смотрело ты на них
И не ослепло? Око, Око!
Не очень видишь ты глубоко!
Ты спишь в киоте, а цари...
Да чур им, тем царям поганым!
Пусть кандалы в ночь до зари
Им снятся с звоном неустанным!
А я стрелой помчусь в Сибирь,
Перелечу Байкала ширь
И загляну в крутые горы,
В вертепы темные и в норы,
Без дна, глубокие,— и вас,
Поборники пресветлой воли,

Из тьмы, из смрада и неволи,
Царям и людям напоказ,
На свет вас, скованных цепями,
К свободе выведу рядами!..

(Ф. Гаврилов).

БАРАБАН ПЕЧАЛИ.

Очи твои подо мною,
Перси,
Все тело твое...
Руки в траве раскинуты,
Влажные длани
В дланях моих.
Очи твои — зеркала,
Весь я огромный,
Безумный
Нежно любуюсь в них.
Тень благовонного вечера,
Огни недалекого города,
Черная летучая мышь,
Тихо мелькнувшая в сумрак!
Тихо.
Раздумье.
Благоухает земля.
Мы благовонны...
Близятся, близятся лица.
Ты видишь, как падают звезды,
Неба подарки слепящие.

Нежно касаюсь я раны —
Благовонных, приманчивых уст.
Поцелуй.
Слышишь?
Бьет барабан.
Даже теперь,
Когда близко...
Когда очи твои подо мною,
Перси
И тело твое...
Бьет барабан печали,
Мое вселенское сердце.
Даже теперь,
Так близко,
Ты не можешь понять барабанщика,
Когда звезды, черту прочертивши,
В эфире находят смерть.
Он барабанит про мировую печаль
У ясных твоих очей...
Ты не можешь постичь барабанщика,
Ты изумишься,
Если он не возьмет тебя.
Бей,
Бей,
Отбивай похоронные такты,
О, барабан печали!
Сердце, стучи
Про близкий конец.

Рукоплесканий не будет
Осмеянному барабанщику
И барабану огромному
Всех сердец.

(Р. Победимский).

СЕМАФОРЫ.

На всю Украину:
Красная роза раскрыта...
Потомкам нашим не видеть красот руин.
А в лесу бандиты.
Пути из железа
Обняли всю землю, как спрут.
На людей нападает черная немочь,
Головою люди бьются о камни,
спрашивают:
— Куда итти?..
А на спине спекулянта мучные пуды.
Во все концы гадюками
Расползаются рельсы
И стоит железная улица:
не проехать там не пройти!
Сброшены под откосами
Вагоны колесами
Фанатически молятся старому богу...
А семафоры руки простерли
К небу
В отчаяньи...

Ждут гнева, победы ждут.
Не бьют барабаны
Не трубят трубы.
А кровь разлилася рекой,
И плещется в ней бандит,
Как рыба,
И сплошь огонь и взрывы, и взрывы...
По свету с бешеным окриком
Рыщет ужас...
Даже неверы от страха
Нацепили на шеи кресты.
Мы одни — в предрасветной бодрости,
Мяту песен веселых срывая,
Идем по железным путям.
Нам, только нам открыты
Семафоры в грядущее!..

(Р. Победимский).

ЮЛЬЯН ШПОЛ (р. 1891)

Зазимилась земля.
На насесте куры — куда-куд-куд.
А песня все так же стара,
Хоть на вид и нова погудка.
Эх! и подцел же чорт
Обагрить в потоке душу!
Словно картина прет:
Дурень взлез на сухую грушу...
Ползут и ползут гадины,
Ползут с запахом вареным
Пуховиков и перин!—
А в рыло!—
Убей!
Сгинь!
Рыли мы, рыли...
Вымотали все жилы,
А мордатая торговка
Замызгала в сало
Мечтательный порыв,
Пришла и села...
— Вишь ты, коммуна...

Эх, оголотелая,
В рот те пирог!..
Плакала Дуня,
Наставляя милому рог.
А попробуй
На пайковую карточку
Измерить
Семейную верность друг друга:
«Замужем сгинет Дашурка,
Чувства меры
Не знает в подруге
Потап».
И так
С душою обвислою
Сморкаются в чашу бытия,
Ржавыми щипцами тиснут
Новопьесного сезона
Торжественный приход.
Эх, народ!
Осатанело осталить
Кинжал
На семейную жвачку,
что зубы скалит.
В зубы жарь!..
Чтобы:
Кряк —
На карячках...

(С. Пилипенко).

ПЕСНЯ.

Ох, был конь и у меня,
Весь из полымя-огня,
Были сабля и винтовка
И колдунья-чернобровка.
Турок борзого словил,
Лях мне саблю иззубрил,
А винтовка изломалась,
А колдунья отчуралась.
По Буджацким по степям
Путь казацким бунчукам,
А мне путь один с сохою,
По-над нивою сухою.
Гей, гей, гей, вол черный мой!
Долго нам пахать с тобой...
Ветер веет, повевает...
Котелочек закипает...
Кто-б меня повеселил —
Хлеб-соль вместе разделил?
Ой, кто в поле — покажися!
Кто в дубраве — отзовися!

Никого... В дуброве гул;
Месяц в облачко нырнул;
Ветер веет-повевает,
Котелочек простывает...

(А. Мей).

ВАСЫЛЬ ЭЛЛАН (р. 1899)

Громит ударом коммунар
бетонный мир в последнем споре,
а в небе облаков пожар,
багреют зори!...
Зори!
Париж гадает не один
о днях кровавого террора,—
и нож блестящий гильотин
в тумане близок... Скоро!.. Скоро!..
О, нестерпимо острый взор!
О, меч Мадонны коммунара!
Ждет в корчах мировой простор
грозящей молнии удара.
Грохочет гром — могуч и юн.
День первый солнечного мая.
И песен ринулся бурун —
кровь пробудилась огневая.
Кровавые знамен цветы —
червонно-буревое море...
А с высоты —
багреют зори.
Зори!

(И. Гаврашенко).

ВОССТАНИЕ.

I.

Там, где воспет мечтательски поэтом
Сизый мрак над сонным городом,—
Брошена Революционным Комитетом
Словно искра в порах террориста.
Дал приказ (короткий и суровый):
Ударить и разбить врагов.
Город тихо спал, не зная — скоро-ль
Откуда-то раздастся огнестрельный гром.
Над безлюдьем переулков пустынных
Бледный рассвет опалово плакал.
Вдруг — ббах — второй, третий — выстрелы хлынули
И нервно пулемет за-та-та-кал.
Легко досталась первая победа,
Враг смешался от смелого наскока.
Достали броневик... Но подкрепленья нету —
И сердце сжала в черных лапах тревога.
Мотор задрожал, напряженно тужась,
Ноган как будто прирос к пальцам,
Но враг смыкает кольцо все уже,
Пули четко бьются в панцырь...

— А вечером все прикрыл туман
Падал снег легко и плавно —
На зажатый в руке наган,
На красно-черную рану.

II.

Ночью кто-то заломил в смертельной скорби руки —
Защемила тяжкая печаль,
Скорбные Шопена звуки
Разольет рыдающий рояль.
До краев душа полна лазурной тверди.
Разгорелась и горит любовью —
За жизнь расплата только кровью,
Только смертью превозможешь смерть.

III.

Торопливо и горячечно выстукивает телеграф
Снова искрой комитет зовет:
Кровь горит на наших знаменах,
Наша кровь.
Вперед!

(Д. Выгодский).

ВЕСЕННЕЕ.

Пришла весна
Красна,
Ясна,
В снах.
— На,
Пей весны аромат.
Солнце вливай себе в очи,
Точно
Вино, что столетья хранят.
Позабывши газетную хронику,
Клемансо и Вильсона,
Орландо и Пишона,
— Возьми в руку гармонику,
Подыщи себе пару,
И в поле, в луга, на бульвары...
Пусть мечется, стонет уныло
Бессильный
Год, отравленный нами.
— Ты хоть голый, с босыми ногами,
Но пусть только кто-нибудь молвит
Против власти твоей два слова —
— Все разлавят могучих удары.
— Выше голову вскинь, пролетарий!

(*Д. Выгодский*).

ВОЛОДЫМЫР ЯРОШЕНКО (р. 1898)

БЕЗНАДЕЖНОСТЬ.

День родился сегодня серым,
Робким, немым, бесстрастным,
Лишь с одним желаньем смелым —
В срок погаснуть закатом ясным.
И печаль, как серая птица,
Целый день кружила в далях:
Этот день мне еще приснится,
Он припомнится мне в печалях.
Мне еще этот день приснится
Безнадежностью и бесстрастьем...
Раненая погибнет птица—
Серый — станет мне белым счастьем.

К небу лиловая риза
Полукругом звездами приколота...
Сеется золото сизое,
На землю прозрачное золото.
Ветром туманы просушены
В степи, над далекою синью.
Мои ноги и руки надушены
Горько-соленой полынью.

Прихожу с обожженною грудью,
Обветрены плечи и руки...
— Там ходят лисицы и люди,
Где тропинки ползут, как гадюки...
Где ходят медведи и звери —
Там пути прямы и широки...
С неба из фиолетовой двери
Серп глядит одинокий...

Я очутился в рыцарях кукольной комедии
И удивленно таращу глаза:
— Неужели же я герой интермедии,
Где сверчок стрекочет, где порхает стрекоза?
Нет, тут ошиблись, конечно!
Или это глумится, забавляясь Сатир,—
Или что-то напутали, слишком беспечно
И поспешно сбирая гостей на пир...
Вам неловко, куколки, надетые на ниточки,
Я сконфузил вас, мрачный, большой?
— Вы играете тут в солдатики и в пушечки,
И заводите автомобиль ручной...
Ах, глупец я! ах, увалень необразованный!
— Револьвер на стрекозу наводил...
Прогони меня, балет разрисованный—
Я бельмом на глаз твой вскочил.

(*Р. Победимский*).

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
От редакции. . . .	5
Проф. А. Белецкий.	
Новейшая украинская лирика	7
Алешко В.	
К жизни ключам. . .	67
Чернороб.	68
Алчевська Х.	
Мне все равно. . . .	69
Ты знал меня. . . .	70
Вороный М.	
Над Днепром	71
Гадзинський В.	
Из поэмы „Эйнштейн"	74
Грабовський П.	
Сон.	76
Григорук Е.	
Замнарком	77
Гринченко Б.	
Унылые картины . .	78
Дніпровський И.	
Из „Поэмы о плуге" .	79
Еленго М.	
Донбас	80
Ірченко О.	
Из поэмы „Зеленое болото"	81
Кударь Д.	
Далекий принц . . .	82
Лук М.	
Осенняя песенка. . .	83
Курлыва О.	
Металлом дышет. . .	84
Сагул Д.	
Где-то в высях . . .	85
Из книги „На грани".	86
Призыв.	89
Зеров М.	
Покорный воле бога. .	
Иогансен М.	
Коммуна.	94
Революция	96
Не верим мы в бога .	99
Карманський П.	
Vorrei morir	100
Прижался лбом к решетке	101
В Риме	102
Кырыленко И.	
В степях	104
Кобылянський В.	
Я сокол с гор.	107
Коляда Г.	
Демонстрация	108
Копыленко О.	
Жизни моей	111
Котляревський И.	
Из „Энеиды"	112
Возный.	120
Крымський А.	
Скалы .. Кедры . . .	121
Теплый гром	122
Кулиш П.	
Дума	123
Кулык И.	
Работница Шура . .	127
Лепкий Б.	
Уснуло крепким, тихим сном	129
Проезжий	130

	стр.
Маковий И.	
Крест	131
Олесь О.	
Родное слово	132
Воля? Воля!	133
Косари	134
Ты на ночь не гляди	136
Астры	137
Милый, глянь	138
Не голоса громов	139
Цветущий папоротник	140
Искра	141
Осьмачка Т.	
Хохот	142
Павлюк А.	
Из цикла „Полынь"	144
Панив А.	
На девичьи косы	146
Пачовський В.	
Русалки	148
Красный танец	151
Пидгирянка М.	
Песенка	153
Полищук В.	
Из поэмы „Ленин"	154
Капитан Шнейдер	157
Весенний пруд	162
Нищим духом	163
Руданський С.	
Наука	164
Рыльський М.	
Красное вино	167
Снилось мне	168
А где-то есть певучий Лангедок	169
В горах, среди утесов	170
Розы покрыли	171
В полуденный час	172
Савченко П.	
В чару белого вина	173
Савченко Я.	
Мессия	174
Не дано	176
Неповторно безумны	177
Самийленко В.	
Элегия	178
Семенко М.	
„Поэма специального назначения"	179
Она пришла ко мне	183
Парикмахер	185
Кондуктор	186
Сенченко И.	
Аэроплан	187
Слисаренко О.	
Из „Поэмы пренебреженья"	189
Сосюра В.	
Из поэмы „Оксана"	191
Раздули горны мы	194
Красная зима	195
Старыцькый М.	
Швец	196
Тарновськый М.	
Лета	197
Твердохлиб С.	
В. Пачовському	198
Терещенко М.	
Кочегар	201
Тычына П.	
Плуг	204
Псалом железу	205
На майдане	209
Тут же за селом	210
Первомайская песня	211
Где-то рояля весна	212
Из поэмы „В космическом оркестре"	213
Есенин, Белый, Блок и Клюев	215
Солнечные кларнеты	216

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

Арфами, арфами . . . 217
Хор лесных колокольчиков 219
Я стою на круче . . 221

Украинка Л.
Надпись на руине . . 222
Сфинкс. 225
В катакомбах 227
Забытая тень. 231
Песня 234

Филипович П.
Белесый истомленный день 235

Филянський М.
Зеленые холмы. . . . 236
Думою прощальною. . 237

Франко И.
Товарищам из тюрьмы. 238
Каменщики 240
Semper idem. 242
Седоглавому. 243
Земле моя! 246
Если ночью услышишь. 247

Хвыльовый М.
За гранями зима. . . 248
На позиции 250
Голод. 251

Чарнецький С.
Село тоскует. 252

Черкасенко С.

Чернявський М.
Пахарь 256

Чумак В.
Революция. 258
Красный запев . . . 260
Расцвет осенних гроз. 262
Я—иль лазурь. . . . 263
Грустишь. Зачем печаль? 264

стр.

Столько счастья, что боюсь я 265
Капля за каплею кровь 265
Гуденье пчел и блики солнца 267

Чупрынка Г.
Лен 268
Белый закат. 270

Шаповал М.
Вечерний страх . . . 271

Шевченко Т.
О, люди, люди,—горемыки! 273
Они 275
Иван Подкова. 276
Из поэмы „Гайдамаки" 279, 281, 283, 285
Из поэмы „Сны". . . 287
Из поэмы „Катерина". 289
Дума: Проходят дни. 291
Ох вы, думы мои, думы 293
Вечер 295
Песня: „Проторила я тропинку" 296
Юродивый 297

Шкурупий Г.
Барабан печали . . . 302
Семафоры. 305

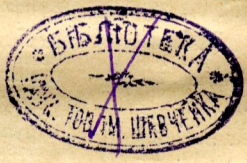
Шпол Ю.
Зазимилась земля . . 307

Щоголив Я.
Песня 309

Эллан В.
Гремит ударом коммунар 311
Восстание 312
Весеннее 314

Ярошенко В.
Безнадежность 315

57



Львів. Бібліотека
АН УРСР

131

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ

РЛ 57 У